

[Polaris]

ЭЛИ МАГАРАМ



ЖЕЛТЫЙ ЛИК

Очерки одинокого странника

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLVI



Salamandra P.V.V.

**Эли
МАГАРАМ**

ЖЕЛТЫЙ ЛИК

Очерки одинокого
странника

Salamandra P.V.V.

Магарам Э. Е.

Желтый лик: Очерки одинокого странника. Подг. текста М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 128 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLVI).

Колоритные очерки писателя, журналиста и составителя ряда посвященных Китаю альманахов Э. Е. Магарама рисуют картины Шанхая начала 1920-х годов — огромного и полного контрастов интернационального города, недаром прозванного «желтым Вавилоном» и «Парижем Дальнего Востока». Целый ряд очерков посвящен изображению шанхайских притонов и «веселых кварталов». В книгу также включен рассказ «Опасная забава», названный автором «кинодрамой».



**ЖЕЛТЫЙ
ЛИК**



СТОЛИЦА ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА*

Знойный, душный день.

Узкие кривые улочки и неожиданные проходы-проулки тянутся змейками в бесконечную даль. Серые слепые стены испещрены черными иероглифами. Остроконечные лестницы-крыши немо глядят в голубое небо, откуда льется жгучий поток ярких лучей полуденного солнца. Бледно-желтые косоглазые лица. Оголенные, блестящие влажным трудовым потом груди, спины и икры ног, черные, загорелые, с терпко-кисловатым запахом, как хорошо поджаренный бифштекс. Белые шелковые халаты богачей и синие, заплатанные пояски-штанишки кули и рикш. Желтые, красные, синие, зеленые и белые полотняные вывески, вышитые пестрыми, кричащими иероглифами.

Спешат, галдят, размахивают руками на ходу. Отовсюду несется звон, стук и грохот рабочего люда, стрекочут швейные машины, бьют молотками сапожники и гробовщики, монотонно стучит мотор в механической мастерской, в новооткрытой лавчонке беспрестанно визжит граммофон, с раннего утра до поздней ночи повторяющий одну и ту же пластинку китайской популярной песенки, чтобы привлечь покупателей. Кули, согнувшись под непосильной тяжестью,

* Очерки «Синово» и «Рикша» впервые появились в газете «Новости жизни» в Харбине; «Су-Чжоусский канал» и «В баре» — в «Новостях Шанхая». Остальные очерки цикла «Желтый лик» печатаются впервые (Прим. авт.).

как пружинные куклы упруго и четко отшлепывают шаги, напевая:

— Хэ-а-хо... хэ-а-хо... хэ-а-хо...

Среди улочки, неумолчно позванивая в медный таз, бродит цирюльник. Высокий, худой, полутолый, с лысиной во всю голову и свисающими под подбородком жесткими черными усами. Он тащит на коромыслах два больших некрашенных деревянных ящика с инструментами и принадлежностями китайской косметики. Поблескивают концы остро отточенных ножей, ножниц, щипцов и металлических гребней. На веревке, через плечо, болтаются два медных позеленевших таза: маленький — спереди, на груди, большой — сзади, на спине...

С громким веселым говором проходит группа молодых китайнок в нежно-голубых, лиловых и розовых узеньких штанишках и коротеньких курточках. Ярко намалеванные, с необыкновенно пунцовыми губами и щеками, густо напудренные, с гладко зачесанными в узкие, черные блестящие косы волосами, убранными серебряными и медными украшениями и пестрыми лентами, они, вперевалку, неуклюже ступают миниатюрными, изуродованными ножками по булыжникам мостовой, покачиваясь, словно хрупкие цветы на тоненьких стебельках. Вдали кажется трогательной неровная, робкая походка этих женщин-детей, наивно уверенных в своей неотразимой прелести, наряженных и украшенных, похожих на дрессированных животных в цирке....

На углу, у поворота в переулочек, ссорятся два лампацо* из-за упущенного седока. Один из них — маленький, худой, с тонкими, как тростник, искривленными ногами, громко визжит высоким фальцетом, жарко жестикулируя перед самым носом соперника — высокого верзилы с рябым, изъеденным оспой пятнистым лицом и бесцветными, текучими глазками. Полутолая толпа кули и рикш обступила их и бесстрастно наблюдает за спором.

Из настежь раскрытых уличных кухонь и трактиров плывет душливый чад и угар. На ржавых железных крюках

* Рикши (Здесь и далее прим. ред.).

развешены разлагающиеся ломти свинины, едва прикопченные битые птицы и сушеная рыба. Здесь же, на улице, полуголые повара готовят любимые китайские блюда, жарят рисовые лепешки, пекут уродливый красный картофель, месят тесто для лапши и пельменей, мастерят деликатесы из отходов и требухи животных и птиц... В черных углублениях, за столиками, вокруг дымящих смрадом кухонь, кули и рикши смакуют деликатесы родной кулинарии, пьют из маленьких глиняных чашечек ароматный зеленый чай, приправленный пресными зелеными маслинами, играют в карты и кости, ожесточенно-страстно переругиваясь на своем гортанном наречии, временами разрешая спор побоищем. У входа в трактир слепой старик-нищий играет на худзине. Мальчик-поводырь с изъязвленной головой гнусаво подтягивает ему и резкий тонкий фальцет, сливаясь со скрипом худзины, по временам заглушает монотонный напев приказчика в соседней лавчонке старого платья, расхваливающего товар. Вблизи трактира скопилась толпа грязных, полуголых, безработных кули. Полуоткрытыми слюнявыми ртами они жадно вдыхают вкусные запахи пищи...

На порогах темных зловонных клетушек, у ног матерей, на задворках, среди отходов и мусорных ям, по всем закоулкам, снуют под ноги ребята. Грязные, одичалые, блещущие оголенными тельцами и многочисленными язвами и синяками, свидетельствующими о полной беспризорности, они оглашают весь квартал своими детскими, болезненно-охрипшими голосами. Худые, желтые, старчески-сморщенные личики по-своему отражают радости бытия и беззаботности. Черные, похожие на маслины, косые глазки любопытно поблескивают, все ощупывают, примеривают, ко всему присматриваются, приглядываются. Как заброшенные щенята, неумоимо гонятся за пищей, бегают взапуски, плачут и орут, иные от обиды, а то просто от желания выкричать накопившуюся боль дикими, бурными взрывами. Иногда, когда на улице появляется европеец, игра, слезы и смех мгновенно унимаются и толпа малышей окружает прохожего, на шаг опережают его, комически-важно отдают ему честь, неуклюже, по-медвежьи прикладывая ручку к уху,

или молитвенно складывают грязные лапки вместе и, потрясая ими, настойчиво повторяют на разные лады одну единственную, накрепко заученную фразу по-английски:

— Мастер, гив ми копер...*

Со всех сторон, словно заблудшее, блеющее стадо овец, гнусавят уличные торговцы. Всяк, по-своему напевая, расхваливает свой товар. На земле, рядом с корзинами овощей и фруктов, среди красочных куч помидоров, апельсинов, арбузов и бананов, валяются похожие на копошащуюся падаль нищие. Безрукие, безногие, слепые и глухие, с изъязвленными членами и открытыми ужасающими ранами, они ползают на четвереньках за прохожими, цепляются изуродованными конечностями за платье, целуют следы... Завидя европейца, нищие облепляют его со всех сторон, матери-нищенки бросают среди улицы, под ноги, грудных ребят, а вой и стоны оглашают весь квартал, покуда не раздается спасительный звон медных коперов о камни...

Немного дальше слышен звон трамваев и оглушительные гудки автомобилей. Сразу, почти без перехода, узенькая улочка с высокими слепыми стенами упирается в европейский центр города. Жалкие китайские лачуги и землянки сменяют многоэтажные каменные дома, столичные магазины, внушительные здания банков и контор. Роскошные выставки серебра, золота и бриллиантов слепят глаза. В окнах модных магазинов красуются последние модели платьев, вывезенных из Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Чередуются жилые дворцы, окруженные тропическими садами, массивные, строгие контуры банков и шикарные магазины с зеркальными окнами. Мраморные лестницы обиты пестрыми, мягкими коврами. Электрические подъемные машины поднимаются с быстротой молнии на пятый и шестой этажи. Всюду красота, изящество, мраморные инкрустации, бронза, яркий блеск меди, позолота, фрески, шелк и бархат. По всем направлениям шныряют автомобили, подвижные и легкие, роскошные фаэтоны с вытянувшимися на подножках боями, кое-где пронесут в ярком шелковом

* Господин, дайте монетку...

паланкине полного, изжелта-бледного чиновника-китайца. По гладкому асфальту мерно хлопают пятки рикш, стонут, надрываясь, кули с искривленными от тяжести позвоночниками.

Местами европейские магазины смешаны с японскими и китайскими лавками. На окна и двери опущены густые циновки, не пропускающие солнечных лучей, и лишь узкая, полукруглая щель остается открытой у входа для покупателей. В лавке, под потолком, неслышно жужжит электрический фэн и слабый ветерок слегка колышет белые шелковые халаты щеголей-приказчиков.

В глубине антикварной лавки улыбается во весь широкий рот деревянный, позолоченный Будда, поджав под себя массивные ноги, выпучив вперед высокий живот с жирными складками и необыкновенно естественной пуповиной... Рядом с Буддой стоят большие терракотовые вазы, голубые, с причудливыми китайскими рисунками драконов, фантастических зверей и хрупкими фигурками китайцев в узеньких, пестрых штанишках и курточках. На длинных бамбуках, подвешенных к потолку, висят ряды красочных китайских костюмов и блуз, шитых золотом, серебром и разноцветными шелками. На полках выставлены шахматные доски, отделанные перламутром, с резными фигурками из белой и черной кости, дорогие письменные приборы из старинного серебра и бронзы, вазы, вазочки и безделушки древней китайской работы. В черных ящиках, обитых ярким бархатом, красуются чайные сервизы из прозрачного фарфора с красивыми пестрыми рисунками из китайской мифологии и истории. Со стен глядятся широкие, пестро разрисованные веера, шелковые скатерти, ширмы и акварели, — произведения китайских художников.

За черной конторкой, вблизи улыбающегося Будды, хозяин, — худой, маленький старичок с реденькой козлиной бородкой и длинными седыми усами, тонким широким носом и высокими скулами, с глубоко сидящими под лбом зелеными глазками и красными, словно обожженными веками, — тонкими костлявыми пальцами с длинными острыми ногтями щелкает черные косточки миниатюрных китай-

ских счетов. На голове у него черная, круглая, атласная шапочка-ермолка. На носу поблескивают золотые пенсне, во рту золотые зубы, сквозь тонкий белый шелк халата просвечивает массивная золотая цепь часов на груди, на пальцах дорогие перстни, горящие в темноте жуткими огоньками, в левое ухо вдета серьга со свисающим на тоненькой золотой цепочке бриллиантом величиной в горошинку...

В углу, над окном, в миниатюрных плетеных клеточках трещат сверчки. Приказчики вокруг деловито стирают пыль с вещей, суетятся, стараются не попасть на глаза хозяину. Когда в лавку входит покупатель, к нему бросается кучка людей и каждый исполняет одну, строго определенную ему роль. Один подставляет стул-табуретку, другой бежит за чаем, третий — почтительно отвешивая необходимое количество поклонов, церемонно приветствует покупателя. Хозяин издалека, между счетом, наблюдает за порядком, грозно поблескивая золотыми украшениями и стеклами пенсне, такой маленький и страшный рядом со смеющимся Буддой...

Покупатель важно глотает зеленый чай из фарфоровой чашечки и лениво, с видом знатока, осматривает поднесенные предметы. Приказчики вертятся вокруг него на цыпочках, расхваливают шепотом товары. В прохладной полумгле доносятся с улицы звонки трамваев, гул автомобилей и каркающие, гортанные напевы продавцов. Все так же жужжит фэн под потолком и звонко стрекочут сверчки в клеточках над окном...

В японском квартале дома низкие, в большинстве огороженные деревянными заборами. Сквозь забор виден игрушечный садик, миниатюрный фонтан, а иногда белый мостик над искусственным возвышением, величиной в узенькую скамеечку. Перед высоким порогом, устланным светлыми циновками, стоят ряды гетт* и японских туфель, состоящих из соломенных подошв и тоненьких тесемок для пальцев. Во мгле клетушек маячат вдали смуглые, нагие тела обитателей...

* Имеются в виду гэта — японские деревянные сандалии.

Улицы в японском квартале оживлены и пестрят разноцветными кимоно и яркими шелковыми оби. Изредка раздаются грустные звуки кото или неожиданно прозвучит нежный, мелодичный альт гейши, томный и жгучий, похожий на свежий, только что сорванный цветок в тропическом саду. Деревянные гетты отчетливо постукивают по камням. Из школ возвращаются ученики и ученицы, серьезные черные крошки, с ранцами через плечо, в миниатюрных пестрых халатиках-кимоно и красных юбочках, с металлическими гербами на фуражках с широкими козырьками. По улице знакомые церемонно раскланиваются, привычно сгибая туловище, быстро вдыхая воздух, глотая слова в знак почтения. Хмурые темные лица мужчин мгновенно оживляются вежливой улыбкой и необыкновенно блестят белые и вставные золотые зубы под редкими черными усами.

Выставки в окнах пестрят кимоно, японской обувью и игрушками. У входа, с пола поднимается невысокое возвышение, устланное циновками. В углу стоит миниатюрный письменный столик. На циновках сидит на корточках смуглая, хрупкая мусмэ в пестром распахнутом кимоно, из которого выглядывает нежная невичья грудь с торчащим сверху острым коричневым соском. На стенах, в окнах и на тоненьких полочках выставлены изящные крошечные вещицы и игрушки, прелестные изделия черных, похожих на больших жуков, маленьких людей...

У серых, узорчатых ворот китайской кумирни, за четырехугольным столом, покрытым красным шелком с золотыми иероглифами, высокий бледный китаец в синем халате с красными отворотами и шестиугольной шапочке поджидает клиентов. На столе, на видном месте, стоит продолговатая коробка туши из черного дерева, с полдюжины тонких и толстых кисточек и огромная пирамида свернутых розовых папирусов с черными иероглифами. В небольшой деревянной клетке, отгороженной на два этажа, внизу — грызут корку две белые мышки, а сверху, над ними, купаются в глиняной чашечке, весело чирикаая, две желтенькие канарейки с нежными розовыми клювами. Ворожея окружает куча детей, китаянок и китайцев. Временами, решительно,

с сжатыми губами, безмолвно выдвинется к красному столу бледно-желтая китайка с высоким животом и впалыми глазами, выложив вперед медный копер и, вздрагивая всем телом от волнения, благоговейно наблюдает, как поочередно белая мышка и желтая канарейка вытаскивают из груди розовых папирусов ключи к тайнам ее судьбы. Ворожей, опустив со лба на широкий плоский нос железные очки, сравнивает оба папируса и тоненькой кисточкой выводит на бумаге тушью красиво закругленные иероглифы, вкратце излагая женщине решение богов. Толпа вокруг почтительно смотрит и неслышно дышит. Вслед за женщиной к красному столу опять продвинется кто-нибудь с зажатым в руке медным копером и лишь оглушительные удары в гонг и бешеный барабанный бой молящихся в храме плывут над головами толпы, застывшей в ожидании.

Из модного магазина направляется к серому автомобилю молодая женщина в дымчатой тюлевой тунике. Маленькие ножки, обутые в крошечные туфельки, упруго ступают по асфальту тротуара и гордая, непринужденная походка напоминает движения принцессы во вражеском стане. За нею спешат бои с пакетами и картонками. Она усаживается на передке рядом с шофером и маленькими холеными руками, унизанными кольцами и браслетами, сверкающими на солнце миллионами пестрых огней, берется за руль.

Лицо у женщины чуть-чуть продолговатое, бледное, словно выточенное из мрамора. Черты строго-правильные, нежно округленные. Глаза влажные, серо-голубые, задумчивые. Рот небольшой, алый, а капризно оттопыренная верхняя губа показывает ряд маленьких, ровных зубов, беленьких и прозрачных, похожих на драгоценные камушки в дорогой оправе. Волосы пышные, пепельно-золотые вкрадчиво маят из-под широкой светлой шляпки, отделанной страусовыми перьями.

Поворот руля и щелк мотора. Маленькая ножка нетерпеливо нажимает рог и улица оглашается рычаньем раненого зверя, покрывающим гул и грохот, звонки трамваев, гнусавые выклики продавцов и однообразный стон кули...

Впереди рассыпаются по сторонам кареты и рикши. Машина круто поворачивает и величественный серый автомобиль покорно слушается маленьких ручек, бледных и тонких, таких трогательных на стальном колесе руля. Мужчины по обеим сторонам улицы останавливаются по пути, словно притягиваемые магнитом, и долгими, восхищенными взглядами провожают мчащийся автомобиль. Некоторые из них почтительно кланяются женщине, снисходительно улыбающейся им в ответ гордой, царственной улыбкой. На перекрестках полицейские-индусы, завидя серый автомобиль, безжалостно бьют толстыми палками выбившихся из сил полуголых лампацо, останавливают уличное движение, чтобы пропустить вперед молодую женщину с пепельно-золотыми волосами. Гордо откинувшись на мягкую спинку сиденья, она всматривается в даль красивыми близорукими глазами, ежеминутно тревожно нажимая педаль гудка и, вместе с нею, несется по улице оглушающий дикий рев, сметающий на пути людей и животных. Наконец автомобиль останавливается у парадного входа большого трехэтажного здания американского дома терпимости. Женщина привычным движением нажимает пуговку звонка и приказывает появившемуся бою отнести в ее комнату покупки...

Только всего...

По вечерам центральная часть города тонет в ослепительно-ярком свете электричества. Китайские магазины облеплены лампами. Красочные электрические вывески слепят глаза. По улицам льется бесконечная толпа, пестрая и спокойная, азиатски-равнодушная и живая, алчущая и рабски покорная. Гортанный говор звенит в ушах. Ярче и мелодичней становятся звуки, страстней напевают уличные торговцы, гулко и отрывисто перекликаются рикши. Вдали смолкают последние звонки трамваев, откуда-то доносится резкий, фальшивый скрип худзины¹ и, с новой силой, окутывая весь квартал оглушительным медным воем,

¹ Худзина — двуструнная китайская скрипка (*Прим. авт.*).

рычит китайский оркестр в верхнем этаже чайного домика.

Всю ночь кипит жизнь в столице Желтого Дьявола. На рассвете голоса становятся вялыми, тягучими. По улицам тянутся из баров вереницы рикш с пьяными, обессиленными от бессонной ночи матросами-европейцами. Оживленно перекликаются петухи, а отдаленный рев сирен на фабриках сливается со свежим стоном кули, вышедших на работу. В улицы и закоулки вливаются крестьяне из ближних деревень с огромными плетенками зелени на бамбуках, рослые, выносливые, с полуобнаженными бронзовыми телами. Все чаще поскрипывают калитки домов и, вдали, после короткого перерыва, резко позванивает первый утренний трамвай. Китайцы-повара, с корзинами в руках, отправляются на базар, а бледный рассвет озаряется алым заревом восхода.

Вновь наступает знойный, душный день...

РИКША

Ночь Пу-Хо провел, как всегда, в Старом Шанхае, в узеньком проулочке, вблизи канала. Спал он, по обыкновению, спрятав голову в мягкую спинку рикши, упираясь длинными, худыми ногами в дышло, оглашая всю улочку вкусным храпом. Лишь на рассвете ему приснилась родная деревня, золотистые рисовые поля, дымящиеся под знойными лучами; какая-то странная, невиданно-знакомая кумирня, освещенная пестрыми огоньками, и чудилось ему, что гонится за ним по узкой, отвесной стене над бездной полицейский-индус в ярко-малиновой чалме на голове и с толстой белой палкой в руке...

Предрассветный холодок разбудил его. Он удивленно приподнялся на своем ложе, вытер грязными шероховатыми кулаками глаза и, вздрагивая от пережитого страха, почесываясь и оглядываясь, понемногу пришел в себя. Постепенно улетучилось гнетущее настроение кошмарного сна и, от сознания, что наступает день, такой будничным и милый, несущий, быть может, полный кошель коперов, жгучая, животная радость бытия охватила его.

Чуть-чуть брезжил рассвет, голубой и прохладный. От влажной росистой земли поднимался прозрачный синеватый дымок, закутывая дали туманной пеленой. Вдалеке бодро-призывно пели петухи, сонно-сердито лаяли псы и горланно гнусавил китаец-повар с большими корзинами на бамбуковых коромыслах, выкликая пирожки и пельмени...

Пу-Хо ощупал за пазухой свой кошель с коперами и направился к подвижной кухне. Долго приценивался к пирожкам, обнюхивал их, прикладывая к текучему носу, пробовал вес на покрытой толстой корой грязи ладони и, наконец, остановился на дюжине вареных пельменей. Ел не спеша, смакуя, отхлебывая жадными глотками клейкое мутное варево из глиняной чашки, ловко захватывая серое, скользкое тесто пожелтевшими от времени тоненькими костяными палочками.

Позавтракав, он впрягся в рикшу и пустился рысью по направлению к Французской концессии. Побаливал правый бок, тошно ныло в груди, но Пу-Хо не придавал этому большого значения. Светало. Вокруг раздавался лязг открываемых ставень, как синие тени бродили кули, рабочие; широко раскрывая рты, зевали, топчась на углах, китайские полицейские...

На бегу Пу-Хо остановил китаец в черном шелковом халате, массивный и угрюмый, — характерный тип компрадора Международного квартала. Неуклюжим, привычным движением он уселся в рикшу и, толкнув Пу-Хо ногой, указал ему направление. Пу-Хо плюнул на ладонь и, рванувшись с места, побежал к Набережной, сверкая черными пятнами...

Уже поднималось утро, ясное, солнечное, бодрое. Алые лучи ложились на каменные дворцы, на террасы, на зелень и деревья, живым пламенем пылали на ярко очищенной меди на дверях и на радужных стеклах окон. С оглушительным звоном катились первые утренние трамваи, грохотали по обеим сторонам широкой Набережной грузовики и автомобили, сонно охали кули, перетаскивая на бамбуковых палках грузы.

Получив с седока, Пу-Хо вытер рукавом синей куртки пот с лица и поплелся шагом. Он чувствовал ломоту во всем теле, в груди у него все так же ныло и остро подергивало... Утреннее движение было в разгаре. Он то и дело попадал под колеса автомобилей и трамваев, задевал оглоблями зазевавшихся прохожих, получал тумачи свирепых полицейских. На углу двух бойких улочек он остановился, присел на корточках и закурил свою длинную тонкую трубку. К нему подсел приятель, такой же молодой, худой и изможденный, в подвернутых до бедер синих штанах и широко распахнутой на голой груди серой куртке. Вокруг них рыскали по всем направлениям рикши, прохожие, громко распевали свой товар уличные продавцы, гнусаво кланчили, забегая впереди прохожих, калеки-нищие. С оглушительным боем в гонг и барабаны и несколькими оркестрами европейской музыки проходила свадебная процессия. Сот-

ни кули таскали в раззолоченных паланкинах, украшенных яркими, пестрыми лентами и цветами, приданое и подарки невесты, начиная с дорогой мебели и хрустальных сервизов, кончая ночной посудой... Китайцы, выскочив из домов, толпились по обеим сторонам тротуаров, любопытно озираясь, оценивая подарки. Лишь лампацо, изредка лениво обмениваясь словом, тупо глядели на пеструю толпу, попыхивая трубками.

Из калитки ближайшего дома выбежала девочка лет десяти со связкою книг под мышкою. На один миг она сожмурила на солнце глаза, голубые и ясные, и направилась к каретке Пу-Хо. Уверенно уселась и, дрыгая пухлыми ножками, заторопила рикшу, указывая ему путь в школу. Пу-Хо побежал быстро-быстро, мягко шлепая голыми пятками по гладкому асфальту, перегоняя по пути встречные рикши, трамваи и автомобили. Девочка вытаптывала ножкой какой-то мотив на подножке каретки и Пу-Хо, словно чуя в нем ее нетерпение, ее опасение быть наказанной за опоздание, бежал все быстрее и быстрее. К школе он прибыл ровно к звонку. Девочка наспех сунула ему в руку коперы и в один миг смешалась с торопящимися подругами на крыльце. Пу-Хо, тяжело переводя дух, несколько минут смотрел через железную решетку на опустевший дворик с чахлыми деревцами по углам, слышал утреннюю молитву, исполненную хором трогательных детских голосов, относимую ветром из раскрытых окон классов, и неожиданно почувствовал теплую, влажную волну в груди. Он схватился обеими руками за грудь, закашлялся, выплюнул почерневший сгусток крови и медленно покатил свою каретку прочь от школы...

Квартал был смешанный, полу-европейский, полу-японский. Через раскрытые настежь двери виднелись белые циновки, игрушечные полочки, детские конторки. По узеньким тротуарам мелодично постукивала деревянная обувь, низко отвешивали знакомым поклоны у дверей японцы, гортанно смеялись японки, переговариваясь с дальних концов улочки. Прошла пышная похоронная процессия с жертвенными копчеными и жареными свиньями, гусями и ку-

рами в пестрых, позолоченных паланкинах, с несколькими оркестрами китайской и европейской музыки, игравшими различные марши и танцы вплоть до «ту-стэпа»...

Пу-Хо посчастливилось. Он отвез щедрую молодую японку-гейшу в баню и привел богатого европейца-иностранца с красивой, светлой бородой, плохо говорящего по-английски, в японский «веселый дом»... Та и другой щедро заплатили ему звонкими серебряными монетами. На радостях Пу-Хо отпраздновал удачу в уличном китайском трактире. Когда он вышел оттуда, солнце уж стояло высоко, а трамваи были переполнены рабочим людом, спешившим на обед.

В этот день удача словно преследовала Пу-Хо. К четырем часам дня кошель его был набит коперами — доллара на полтора. Но деньги как будто перестали радовать его. В груди, рядом с коперами, за пазухой, он чувствовал возрастающую боль, острую и горячую, и все чаще и чаще плевки его окрашивались черной, запекшейся кровью... Дышать ему становилось все труднее, а жаркий, накаленный воздух душил его и едко щипала горло солоноватая жидкость... Пу-Хо раздел куртку, завернул в нее кошель с медными коперами и бережно спрятал ее в нижний ящик каретки. Затем, предоставив влажную, вспотевшую грудь и спину жгучим солнечным лучам, он, в подвернутых, коротеньких штанишках, полуголый, потащил свою рикшу, крепко стискивая пальцами оглобли, чтобы не свалиться на мостовую...

Из магазина вышла молодая, красивая женщина в белом прозрачном платье и миниатюрных шелковых туфельках на узких, высоких каблуках. Блуждающим взором она оглядывается вокруг и, заметив рикшу, делает ему знак рукой. Пу-Хо инстинктивно прибежал к ней со своей кареткой. Женщина пахнула на него одурманивающими духами, сладкими и свежими, как апрельское утро в китайском саду. Пу-Хо наклонился к оглоблям и прежде, чем пустился в бег, увидел в отвернувшейся ослепительно белой пене кружевного белья оголенную ногу, повыше колена, словно выточенную из снежного мрамора. Кровь все шумнее и шумнее застучала у него в голове, горячим потоком разлилась

по венам. Эротическое видение обожгло его. Возбужденная страсть и опьяняющий запах обновили его силы. Бешено стискивая скрученными пальцами круглое дерево, он бежал со сдерживаемым дыханием в груди, точно гонимый злым духом... На поворотах женщина слегка касалась острием каблука его оголенной спины, указывая ему направление, и это холодное, шероховатое прикосновение ее обуви сладострастными волнами разливалось по всему его телу, будило смутное желание...

У входа во Французский парк женщина остановила его и пошла по широкой аллее, упруго ступая маленькими ножками по мелкому щебню. Пу-Хо бессильно опустил на траву у ограды и молча вперил воспаленные глаза в удаляющуюся женщину, тщетно силясь набрать воздух в грудь. Заметно волнуясь, женщина обошла весь парк, вернулась к крытой террасе и в недоумении остановила красивые голубые глаза на больших круглых часах под крышей, сравнивая время с миниатюрными бриллиантовыми часиками-браслеткой на левой руке...

Вокруг было тихо, пустынно. Крупные, пестрые тропические цветы настороженно прислушивались к звукам. Изредка проходил по аллее одинокий прохожий, слепо бродил откормленный, жирный, как мопс, кюре, глядя в молитвенник или, нежно обнявшись, влюбленно заглядывая друг другу в глаза, тихо ворковала парочка на скамье... Огромные пальмы сонно никли к земле. Под ногами грустно шуршали побуревшие от зноя сухие листья.

Женщина в белом некоторое время растерянно бродила по парку, из аллеи в аллею. По временам она оборачивалась, будто искала кого-то. Пу-Хо издали следил за ней воспаленными глазами. Наконец она остановилась, в последний раз разочарованно обвела парк недоумевающим взглядом и решительно повернула обратно, к выходу. Опять остро пахло на Пу-Хо гиацинтами и сладким, дразнящим чувственностью мускусом. Вздрагивая, он наклонился к оглоблям и опять увидел манящее, нагое, живое тело в белых кружевных складках... У него закружилась голова и горячий воздух наполнил глотку душным комом. Пу-Хо, по

инерции, сдвинул с места рикшу, слепо сделал шаг вперед и с клетотом, с предсмертным хрипом, горячей соленой струей, кровь фонтаном хлынула у него изо рта... Его тотчас же окружила толпа китайцев, откуда-то появился полицейский-кохинхинец в плоском, широком белом шлеме с красными лентами, пара праздных европейцев. Женщина в белом платье испуганно соскочила наземь, трагически заломила руки, но, увидав вдали приближающегося молодого, нарядно одетого господина в белых перчатках, бросилась к нему навстречу...

Несколько минут тело Пу-Хо корчилось на земле. Конвульсивно вздрагивая, затем оно осталось лежать, холодное и недвижимое, как брошенное среди дороги бревно... Толпа китайцев любопытно-безразлично смотрела на остывающий труп, философски покачивая головами, скупно обмениваясь фразами. Лишь один полицейский добросовестно суетился над трупом, записывал номер рикши, тщательно ощупывал карманы того, кто лишь несколько минут тому назад думал и чувствовал...

Наступал вечер. На западе, в садах, за парком, небо пылало ярким заревом. Становилось свежее, прохладнее...

СУ-ЧЖОУССКИЙ КАНАЛ

Низкий, влажный туман стелется над Шанхаем, окутывая улицы, дома и людей едкой, свинцовой мглой. Зябкая сырость насквозь пронизывает тело. Кажется, никогда не прояснится небо, вечно будет хлябко чмокать жидкая грязь под ногами и не выглянет, не согреет теплыми, ласковыми лучами холодный, тоскующий город полуденное солнце.

Улицы и проулки мрачны и неприветливы. Влажные вывески блестят, как зеркала, сверкая золотом и яркими красками. Полотняные китайские плакаты с пестрыми иероглифами, развешенные поперек улиц, над лавками, скомканы влагой и тяжело никнут к земле. Под парусиновыми зонтиками шмыгают одинокие китайцы в длинных черных и синих халатах, обшитых мехом, — серьезные, деловитые, занятые. Изредка, согнувшись в дугу, прошаркает на высоких геттах японка, выбрасывая далеко вперед обнаженные ноги из-под длинного кимоно, быстро промелькнет в сером дождевике «бизнесмен»-англичанин и, как бронзовый памятник, стоит застывший на посту полицейский-индус в красной чалме на голове и выразительным символом власти, — короткой, толстой палкой в руке...

На углу **Garden Bridge**, где сливаются воды Ван-Пу и Су-Чжоусского канала, у зеленой стоянки трамвая, скопилась толпа рикш. Полуобнаженные, босые, с посиневшими от холода лицами, они подпрыгивают на месте, борются друг с другом, чтобы согреться. Мокрый асфальтовый тротуар угрюмо отражает темные силуэты; по блестящей поверхности скользят коричневые каретки, оголенные икры худых смуглых ног, обрызганных грязью. По железному мосту проносятся с отчаянным гулом, звонками и гудками трамваи и автомобили; громко сопя, задыхаясь на подъеме, кули тащат на двухколесной арбе непосильный груз стальных рельс; горланят уличные разносчики; гулко, точно под землею, трещат моторы. На туманном горизонте уходит в даль широкий Бродвей, возглавляемый красным дворцом **Astor House** и, нахмурившись, сторожит вход в Су-

Чжоусский канал серое, стильное здание российского консульства.

Пароходы и баржи на реке кажутся очень маленькими, а люди, как мухи. Они ворочают нагруженные мешки, тюки и громоздкие ящики. С перил моста видно, как припадают к палубе, напрягаются в судорогах темно-синие тела, но не слышно ни звука. Лишь гремит, хлопает тяжелыми цепями о железную перекладину ветер.

Внизу, из-под моста, выходит из канала на реку небольшой игрушечный пароходик и, выбрасывая густые, черные клубы дыма, тяжело побряхтывая машиной, тащит на буксире караван крытых барж, облепленных китайцами. Вверху, на изогнутом клюве подъемного крана пароходика, свесившись вниз головою, вцепившись тонкими, крючкова-тыми ногами в железные цепи, попрыгивая длинной трубкой, кули забивает заклепку. Бледно-зеленое, худое лицо его вздуто синими жилами, а налитые кровью глаза угрюмо сверкают белками. Ветер слегка покачивает шаткие цепи подъемного крана, будто задался целью сбросить цепкое тело вниз, в мутно-желтые воды Ван-Пу. Но кули, посасывая трубку, одной рукой держит над заклепкой острую стальную зубилу, а другой — беспрестанно бьет молотом, все глубже проникает сталью в железное тело, инстинктивно сохраняя равновесие, словно не тянет его к себе, вскруживая ему голову, илистое речное дно «царицы Шанхая»...

Еще не вечер, но и не день. Серый, сырой мрак ползет над городом, окутывая дали туманом. Все так же моросит дождик, нудный и холодный, проникающий в душу тоскливым отчаянием. Из боковой улочки выходит на Набережную канала похоронная процессия. Впереди расхлябанно плетутся музыканты в пестрых кителях с разукрашенными инструментами. Гремит гонг. Барабанная дробь гулко рассыпается вдали. Тонко-тонко заливается флейта, резко и фальшиво срываясь в переходах на верхах. Звенят, вздрагивая, медные колокольцы. Льется беспрестанный дождик стеклянных стаканчиков, хрупких и нежных, точно отдаленное журчанье ручейка на рассвете. Всплывает визжащий вопль двуструнных китайских «худзин», такой однообраз-

ный и раздирающий, словно отчаянный предсмертный вопль животных на бойне...

Раззолоченные паланкины, украшенные пестрыми бумажными лентами и цветами, скрипя, покачиваются на гибких бамбуковых палках. Внутри паланкинов на ржавых железных крюках болтаются, увитые бумажными цветами, жертвенные, чуть прикопченные, свежееобдранные телята, свиньи, гуси и куры. Впереди покойника шествуют его любимые блюда. Шаманы в круглых шапочках с алыми фестонами, подбирая красные шелковые ризы, вышитые золотыми и серебряными чудовищами-драконами, важно движутся вперед. За ними смиренно идут, шамкая губами, сложив руки на выпученных животах, жирные монахи в белых траурных кителях и шестиугольных шапочках. Торопятся кули, оглядываясь на вкусную снедь в паланкинах, посмеиваясь друг другу жадными, голодными глазами...

Впереди гроба ведут за руку, окруженного от внешнего мира белой простыней, наследника-китайчонка лет двенадцати с тупым равнодушным лицом и крашеными щеками. Черный полированный гроб, разрисованный золотыми фресками, качается, как маятник, в парусиновых петлях, вдетых в накрест сложенные бамбуки. Четыре кули, худые, вспотевшие, полунагие и босые, стонут, припадая к земле, задыхаясь под тяжестью гроба...

За гробом, на керидже*, едет жена покойника. Одета в белое, с головой, перевязанной траурной рогожей, ее бледное лицо с покрасневшими, воспаленными от слез веками, страшно выглядит в сумраке осеннего дня. На руках у нее жадно сосет грудь малютка, вцепившись крохотными пальчиками в желтое, вялое тело матери, довольно оглядывая окружающих широко раскрытыми косыми глазками. За вдвой тянется длинный ряд экипажей и рикш с родственниками и друзьями покойника в белых траурных кителях и дымящимися, коричневыми шиа в руках...

Вдали замерли последние звуки гонга. С похоронной процессией уплывают ряды извозчиков и рикш, и явственно

* От англ. carriage — экипаж, повозка.

стонут в наступившей тишине кули на Набережной Су-Чжоуского канала:

— Хэ-а-хо... хэ-а-хо... хэ-а-хо...

Они ползают взад и вперед по узким, высоким сходам, соединяющим баржи с берегом. Сгибаясь под непосильной тяжестью огромных туюков, завернутых в серые, терпко пахнущия рогожи, кули гуськом пробираются по гнущимся доскам, захватывая по пути из рук надсмотрщика тоненькую палочку — условную монету за выгруженное место. По временам, глядя на покатые, согретые работой оголенные спины, испаряющиеся на холодном воздухе, чудится треск выдающихся сухих ребер и покаянной молитвой неумолимому, жестокосердному Богу кажется их монотонный однообразный стон, плывущий над городом...

Двумя неровными, широкими рядами тянутся вдоль обоих берегов канала громоздкие баржи с потемневшими от ветра и непогоды полусгнившими мачтами, реями и спутанной снастью. Меж ними, как телята вокруг матерей, снуют в узкой, эмеевидной полосе рыбацьи сампаны, карбасы, парусные лодки и шаткие душегубки. Жизнь на воде бьет ключом. Гул и грохот, лязг железа, крики компрадоров-надсмотрщиков, стоны кули, рев сирен и мерное постукивание моторных лодок, все это, в беспрестанном движении сампанок и джонок, проталкивающих по узкому каналу руками и деревянными баграми, плывет в воздухе над водою, сливаясь с отдаленным гортанным напевом уличных торговцев на набережных...

Здесь, у берегов, расположились по-домашнему семьи грузчиков и перевозчиков, промысляющих транспортом по каналу товаров, камней, извести и отбросов. Утлые лодки служат им постоянным жилищем. На корме обычно хранится жалкий домашний скarb: пропитанные влагой рогожи и тряпье, горшки, чайники, и тускло дымятся на сыром воздухе железные печки-жаровни, — необходимая принадлежность домашнего очага в китайской семье. В ненастную погоду над лодкой воздвигается из старых циновок крыша, под которой толпится вокруг матери выводок ребят, кудав-

тают куры, кричат петухи, неумоимо визжат обиженные поросята...

В часы отливов, когда три четверти вод канала уплывают в Желтое море, а лодки на стоянках, у берегов, оседают на илистое дно, покрытое отбросами, зеленью и испражнениями, все живое выходит из ковчегов на освободившееся от воды пространство и жадно набрасывается на загрязненные остатки пищи... Петухи, окруженные охраной верных кур, степенно клюют, изредка почесываясь одной ножкой; наслаждаются привольем поросята, зарывая розовые мордочки в топкий ил; как очумелые, прыгают и балуются вокруг китайчата, одетые в лохмотья, высматривая, между делом, чудака-европейца, чтобы выклянчить у него копер... Женщины в синих теплых блузах и узких штанах с пестрыми заплатами, проворно хозяйничают у лодок, утопая по колени в вязкий ил, шлепают подвернувшихся под злую руку ребят, моют белье и жарят рисовые лепешки...

Дальше по набережным канала, за Киангси-род, где расположены шикарные особняки американских домов терпимости, склады овощей и железа сменяются мрачными, казарменными зданиями фабрик и заводов. Высочайшие трубы выбрасывают густые облака дыма и земля дрожит под ногами от постоянного гула машин и станков. Раскрытые настежь ворота кишат черными толпами кули, перетаскивающих уголь, выгружающих товары. Среди рабочих, на набережной, бродят толпы кули, безработных-нищих. Одетые в лохмотья, закутанные в вороха тряпок, в поднятые с земли циновки и рогожи, прикрывающие лишь стыдливую наготу, они облепляют набережные, как пуганые вороны хмуро оглядывают всех и все жадными, голодными глазами. У ворот, вдоль фабрик, важно шагает полицейский-индус с опрокинутым вниз дулом ружьем за спиной...

Ближе к вечеру спешат толпы кули, подгоняемые оглушительными гудками, на смену. Непроницаемый мрак становится гуще, черней. На перекрестках, под тусклыми, приспущенными уличными фонарями, среди отбросов, куч мусора и стоячих луж, кули играют в орлянку. Приглушен-

ный, взволнованный шепот азартных игроков и неровный, резкий звон медных коперов о камни таинственно звучит в ночной мгле и лишь изредка, на один миг прорежет напряженную тишину тревожный, гортанный окрик неудачливого игрока...

С наступлением темноты, барки, лодки и сампанки на канале освещаются одинокими, мигающими огоньками. Среди тусклых, блекло-желтых огней керосиновых лампочек ярко выделяются сочные красные и зеленые сигналы. Обитатели ковчегов укладываются на ночлег и явственно раздаются в тишине всплески воды и однотонный скрежет дерева о дерево пробирающейся в узком проходе угольной баржи.

В переулках и улочках Китайского города, выходящих на Су-Чжоусский канал, всю ночь продолжается работа. Здесь, меж двумя тесными слепыми стенами, где с трудом протискивается прохожий, при раскрытых настежь дверях, работают гробовщики. Тусклый огарок слабо мерцает в сумраке клетушки, и большие, черные, мохнатые тени неслышно скользят по стенам и по полу. На нарах, на полках, всюду, куда ни кинешь взгляд, гробы, гробы и гробы без конца... Черные, коричневые, полированные, из ценного красного дерева, с золотыми и серебряными фресками и простые, некрашенные, с просвечивающими дырами жутко выглядят во мраке клетушек, среди оголенных, работающих, живых гробовщиков. Тут же, на улице, под навесом, а то и под открытым небом, на ларе или на земле, среди луж и отбросов, китайские кулинары расположились со своими кухнями. На большом деревянном подносе отдельными кучками разложены пестрые овощи, малиновая, мелко нарезанная брюква, салат, зеленый горошек, красные помидоры, капуста, золотистые кабачки, картофель, лук, огурцы. Вперемешку с зеленью, здесь же на столе выложены зловонные кучки сырой требухи, вареных легких, печенки, полусгнившие, червивые ломти мяса, живая и битая птица, копошащиеся крабы, раки, горы улиток, скользкие серые каракатицы и медузы, один вид которых вызывает холерные симптомы. В котлах и жаровнях варят и пекут всевозмож-

ные блюда и деликатесы китайской гастрономии, а чад и вонь широкими клубами окутывают весь этот квартал специфическим запахом мусорных ям и прогорклым, едим дымом бобового масла...

Среди клетушек гробовщиков, жестянщиков и кузнецов, где полуголые кузнецы пудовыми молотами рассыпают ослепительные снопы искр, ярко выделяются на темной улочке группы женщин в белом, толпящиеся возле раскрытых дверей своих чуланов. Грубо покрашенные, в белых узеньких штанишках и курточках, они, покачиваясь, переминаясь с ноги на ногу, вздрагивая от ночного холода, вяло зазывают прохожих. В темноте жутко блестят медные украшения и пестрые ленты в черных, гладко зачесанных волосах. Прохожие-мужчины, не спеша, внимательно присматриваются к ним, ощупывают их и, наконец, скрываются с избранной женщиной в темную каморку. Незанятые женщины безвольно плетутся вдоль улочки, долго стоят на порогах у своих дверей, вялые, сонные, с отеками, бесцветными лицами, обессиленные бессонной ночью и тяжкими побоями... Лишь завидя группу европейских матросов, они на мгновение оживляются, кривят густо намазанные румянами губы в улыбку и резкий, тонкий визг оглашает всю улочку:

— Ком инсайд... Мастер, ком инсайд...*

То китайки продают любовь за медные коперы...

* Пойдем внутрь... Господин, пойдем внутрь... (англ.).

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРК

Чуть только рассеялась мгла и алые лучи восхода осыпали пурпуром зеленые деревья Французского парка, — тропические цветы в клумбах выпрямились, ожили и заулыбались друг дружке многозначительными, таинственными улыбочками...

Тих и безмолвен пустынный сад. Бархат стриженной зелени нежно ласкает взор. В вышине беззвучно гнутся верхушки деревьев. Звенит, переливается, сверкая изумрудом и рубинами, зеленая вода в пруде, местами покрытом плесенью. Лениво плавают сгнившие черные веточки и корявые отростки, целые островки побуревших листьев, спаянных сине-зеленым мхом. Ветерок над прудом слегка пахнет тиной и сладкими цветами. В синюю даль уходят песчаные аллеи и дорожки. Причудливо раскинулись вокруг багряно-желтые кусты, под ногами шуршат упавшие листья, такие ало-ржавые и сухие, похожие на сгустки засохшей крови. А цветы в клумбах, затаив дыхание, смотрят, слушают и чему-то улыбаются...

По главной аллее входит в сад молодая девушка в черной шляпке с белым пером. Холодные костяные кораллы греются на теплой, мраморной шее, мягко оттеняя грациозную неглубокую ямку над целомудренным вырезом платья. Упругие, чуть-чуть заостренные груди разбросали массу живых складок, сузили стан и округлили, расширили бедра, придав фигуре юной девушки волнующую прелесть девственности и неуловимое, сдержанное томление сладострастия. Серый светлый шелк, словно паутиной, заткал живое, нагое тело. И, вздрагивая, зовут, манят, поют гимны божественной красоте тепло округленные, стройные, миниатюрные ноги девушки, обутые в серые замшевые туфельки на узеньких, высоких каблуках...

С улицы доносится первый звонок трамвая. По главной аллее спешит, запыхавшись, молоденькая модистка с огромной картонкой в руке. Вдали китайцы метут дорожки сада и утреннее эхо гулко отдает шершавые звуки. Скри-

пит тележка садовника, в траве визжат механические ножницы, со стороны улицы раздаются гнусавые напевы разносчиков и продавцов.

Встал Шанхай. Ожил Французский парк. Чайные розы раскрыли хрупкие лепестки навстречу ласковому ветерку со стороны Желтого моря. Таинственно шепчутся деревья. Неслышно тянется к солнцу поздняя зеленая травка. Лишь птицы порхают с ветки на ветку и шаловливо приглашают друг дружку:

— Иди сюда... иди сюда... иди сюда-а-а...

Девушка в черной шляпке в белым пером присела на скамью против высокой беседки. В клумбах, как чудесная сказка, манят взор цветы. Алые розы, черные и золотые тюльпаны, желтая ромашка, малиновые колокольцы, голубые васильки, белоснежные хризантемы, терпкие гвоздики, фиалки и зеленый бархат листьев поблескивают на солнце кровавыми капельками росы. Девушка мечтательно оглядывается вокруг, легонько вздыхает и, раскрыв небольшую французскую книжку, аккуратно завернутую в газету, принимается читать, тихо шевеля тонкими, красиво очерченными губами. Углубленная в чтение, она хмурит черные брови, изредка поднимая над книгой большие, детски удивленные серые глаза...

Небо синее-синее. Влажный, освежающий ветерок нежно колышет цветы. Сквозь кружево деревьев виден стильный, игривый угол спортивного клуба. Все явственней и громче доносятся с улицы звоны, гудки и свистки и, изредка, гулко, точно под землю мягко проносятся по асфальту шикарные автомобили.

Появляются китаянки-амы* с грудными ребятами в колясочках и степенные, не первой молодости, бонны и гувернантки с детьми, строгие, недоступные, со вставными золотыми зубами во рту... Мелодично шаркают геттами японки, такие мечтательно-грустные и прелестно-безобразные, скуластые и черноглазые, в пестрых кимоно и ярких шелковых оби, сверкая на ветру обнаженными бронзовыми нога-

* Няньки, служанки.

ми. Индусы в ярких, красочных чалмах сдвигаются тесными группами на скамьях, скаля ослепительно белые зубы на темных лицах с черными, курчавыми бородами. Мимо скамьи, где сидит девушка в черной шляпке, проходит молодой французский офицер с раскрытой газетой в руках. Заметив девушку, он вдруг останавливается, обводит взглядом местность вокруг, будто отыскивая место, где присесть, и несмело направляется к занятой скамье, вежливо приподнимая красную форменную шапочку с золотыми галунами:

— *Pardon, mademoiselle*, разрешите присесть?...

Девушка тревожно приподымает на него глаза и, глядя в книгу, говорит:

— Пожалуйста!

Молодой офицер садится на край скамьи и украдкой наблюдает за соседкой. Тонкие, хрупкие пальчики нервно ласкают гладкий лист книги. Черные выющиеся волосы упрямо падают на лоб, оттеня бледный овал лица и слегка подкрашенные щеки и губы. Прозрачные ноздри прямого, чуть приплюснутого носика учащенно вздымаются и зубы, маленькие, ровные, мелкие, нанизанные, как перлы на ниточке, влажно сверкают, словно снег в голубую, лунную ночь...

Где-то вблизи садовник поливает цветы и ветер разносит по саду влажную, пахучую пыль, насыщенную терпким запахом земли. Китайцы-садовники сосредоточенно курят свои тоненькие трубки и время от времени лениво подравнивают ножницами кусты. В пруде убаюкивающе урчит вода, орошая воздух тинным холодком.

Тихо в саду. Сквозь густые ветви проникает сноп радужных лучей. Мягко и тепло греет осеннее солнышко. Как добрый страж, оно заглядывает в отдаленные уголки заросшей чащи, золотит стволы деревьев, алым пурпуром осыпает широкие листья пальм, яркими, ослепляющими бликами ложится на зеленые кусты, на влюбленные цветы и, все ходит, проходит через узкие скважины, будто ищет, высматривает кого-то... Вдалеке отдаленно-звонко журчит ручеек. Теплый ветер слегка колышет уснувшие листья и не смолкает в синем небе звонкий птичий хоровод... От травы подымается едва заметный лиловый пар и густая черная

тень, как маятник, качается из стороны в сторону...

Молодой офицер тщательно-решительно складывает газету и, неожиданно, обращается к своей соседке:

— Как дивно хорошо кругом, не правда ли, *mademoiselle*?!..

Девушка не отвечает. Она делает вид, будто не слышит. Глубже уткнула капризный носик в книгу и личико ее приняло надменно-гордое выражение, точь-в-точь, как белая лилия в каменной вазе напротив. Нахмурила брови, презрительно дернула худыми изящными плечиками и заметно задрожали прозрачные пальчики на белых листах книги. Молодой человек глубоко вздохнул и смущенно забарабанил по скамье:

— М-да...

Сидит, как на иголках. И совсем не видно, чтобы он уж очень увлекался природой, ибо глаза его прикованы к миловидной соседке.

Со стороны радиостанции проходит по аллее группа французских офицеров. Заметив товарища, они на ходу здороваются с ним. Один из них спрашивает:

— Анатоль, ты скоро будешь у рёге* Франсуа?

— И в клубе, на билиарде не будешь?

— Может быть... не знаю...

Офицеры с хохотом удаляются. Молодой человек конфузится, густо краснеет, а соседка его силится скрыть улыбку. Теперь уж она, в свою очередь, вкрадчиво наблюдает за офицером...

Солнце значительно поднялось над деревьями. Цветы томно нежатся в горячих лучах. По аллеям поскрипывают детские коляски, сопровождаемый китайками-амами в черных штанишках и курточках и раздобревшими, полными нянюшками в бретонских и эльзасских костюмах. Мелькают белые чепцы, белые передники, мохнатые кружева и пестрые вышивки лифов.

Здесь, как в микроскопическом зеркале, отражается международный город со всеми индивидуальными и социаль-

* Отца.

ными особенностями его обитателей. Торговец опия, нищенствующий литератор, банкир, русский беженец и японский студент, брюзжащая, многословная хозяйка бордингауза*, хитрый Cettoi — владелец кафе и уличный музыкант-итальянец, колониальный, недовольный метрополией офицер и весьма довольный, смотрящий с недоступной высоты на париев-китайцев, жалкий клерк, — все они представлены в миниатюре в лицах, подвигающихся в колясках, ползущих в траве на всех четырех, спускающих бумажные кораблики в искусственном пруде и снующих, как саранча, по всем направлениям милых bébé...

Скамьи вокруг клумб заняты женщинами самых различных возрастов, начиная десятилетними девочками, кончая преклонными старухами. Красивые и безобразные, умные и глупые, интеллигентные иностранки-гувернантки и грубые деревенские мегеры-кормилицы с выпирающими из лифа полными грудями, — все они, наблюдая за детьми, меж делом вяжут чулки, шьют, вышивают и, больше всего, говорят, говорят без конца...

Тут же, вблизи пруда, как светлые цветы, дети валяются в траве, строят домики, копают грядки, играют песком и спускают в воду утлые лодочки.

В тени каштана шестилетний карапуз роет колодец. Распаренное, покрасневшее на работе личико блестит влажным потом. Он громко пыхтит, всецело погруженный в работу, вкладывая все силенки вместе с лопаткой в рыхлую землю. Ему добросовестно помогает сверстница — златоглавая в кудрях девочка с васильковыми глазами. Она деловито обкладывает колодец вырытой землею, старательно строит ограду из красных спичек и авторитетным тоном обращается к своему товарищу:

— Будет копать, Жан! Берите ведро и ступайте за водою...

Мальчик беспрекословно бросает лопатку и бежит к пруду за водою. На бегу он неожиданно сталкивается лбом

* От англ. boarding house — пансион, меблированные комнаты со столом.

с другим малышом-сверстником в матроской куртке. Детские лобики быстро краснеют и набухают, подвижные, свежие личика корчатся в мучительных гримасах и уже блестят на ресницах крупные бриллиантовые слезинки. Но вежливость в крови у маленьких французов. Заглушая в себе боль, почесывая ушибленный лобик, один говорит другому:

— Vous m'excuserez, m'sieur*, я вам сделал больно...

— О нет, m'sieur, это ничего не значит...

В вышине заливаются сверчки. Мелодичный стрекот сливается с мягким рокотом воды в пруде. Одурманивающе пахнет сладкими цветами, жженым кофе и смолой растопленных асфальтовых мостовых. Серые камни искусственных гротов пышат жаром. Городские часы в высокой башенке звонят двенадцать раз...

Закончив чтение, девушка в черной шляпке разочарованно складывает книжку и, поднимаясь со скамьи, нечаянно роняет носовой платок, обшитый белыми кружевами. Она не успевает нагнуться, как сосед, с изысканной вежливостью, подносит ей платок:

— Не беспокойтесь, mademoiselle...

— О, я вам очень благодарна, m'sieur...

— Не стоит, mademoiselle!... Mademoiselle... я извиняюсь... mademoiselle, я хотел вас просить...

— Пожалуйста, m'sieur...

— Разрешите мне... то есть, я... мне... гулять с вами...

— Но я не гуляю сейчас, m'sieur... Я иду домой обедать...

— Тогда разрешите мне, mademoiselle, проводить вас...

— Если вы хотите... Но мне далеко, на Международной концессии...

— О, mademoiselle, это ничего не значит... Напротив, я буду счастлив, mademoiselle. Вы очень милы, право...

— Тогда пожалуйста, m'sieur...

Они медленно направляются к выходу, сопровождаемые сдержанными ехидными улыбочками кумушек по пути...

* Простите меня, меесье... (*фр.*).

ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ

Черная осенняя ночь...

Вдали замирают резкие звонки последнего трамвая. Индусы-сторожа лениво-бдительно обходят свои посты, постукивая деревянными трещотками, и острый, отрывистый стрекот катится по тихим покойным улицам европейских кварталов, утопающим в зелени садов, как отдаленные раскаты грома:

— Тра-та-та-та-та....

В темноте таинственно шуршат деревья и светлеют на горизонте китайские магазины в центральной части города, освещенные снизу до крыши электрическими лампами. Со стороны Ван-Пу заглушенно жужжат невидимые голоса и чудится, что кто-то, огромный и черный, обессиленный лежит на земле и тихо стонет:

— О-а-а... о-а-а... о-а-а-а...

Немного дальше улицы утопают в ослепительном свете электричества. Неожиданный рев автомобилей, тревожные оклики лампадо и гортанные напевы ночных продавцов сливаются с взвизгиваньем граммофонов и адской музыкой чайных домиков. Пестрая веселая толпа с громким гортанным говором бесконечной волной струится по улицам, заливая по пути узенькие лабиринты увеселительных улочек, манящих к себе красочными зелено-красными огнями и прыгающими электрическими иероглифами.

Серые ставни окон и дверей магазинов уныло глядят на людные, оживленные улицы, как сомкнувшиеся глаза на веселом лице. Лишь табачные и фруктовые лавки да темные смрадные харчевни широко, настежь раскрыли двери толпе покупателей. На углах, вблизи постов полицейских, старики-китайцы пекут в накаливаемых жаровнях уродливый китайский картофель, жарят каштаны и теплый, приятный запах окутывает холодные улицы, вызывает далекие воспоминания об уюте и тепле. Среди пестрой мужской толпы плетутся, заложив руки глубоко в карманы штанишек, подrostки-китайки, размалеванные, разукрашенные разно-

цветными лентами и дешевыми медными украшениями, оглядывая прохожих большими, детски недоумевающими, блестящими черными глазами. Их сопровождают сморщенные старухи-мегеры, изжелта-бледные и грязные, с таинственными порочными улыбочками, похожие на сказочных ведьм...

В порту, на Ян-Цзе-Пу, всю ночь кипит работа. Тысячи кули нагружают и выгружают огромные, бездонные океанские пароходы и баржи. В ярком электрическом свете острее и гуще выделяются дряблые, припадающие к земле худые тела обнаженных грузчиков. Всюду крик, рев, все спешат, каждый занят своим делом. Лязг и свист, железный скрежет подъемных машин, стоны кули, зычные окрики надсмотрщиков и глухой плеск мутных волн уплывают в черную, таинственную мглу туманной реки. Вблизи шныряют сотни джонок, шаланд и плоскодонных, широконосых сампанок, привезших товары из дальнейших уголков провинции. Черные пасти раскрытых настежь полутемных амбаров и транспортных складов, откуда льется на корабли бесконечный поток кули и грузов, страшно выглядят в неровном свете пестрых огней. Среди несмолкаемого гула изредка пронесут ушибленного, залитого кровью кули или вдруг, неожиданно, застынет толпа, наблюдая, как борется со смертью утопающий грузчик, соскользнувший с головокружительной высоты трапа в глубокие воды Ван-Пу... Лишь матросы-европейцы, закончив вахту, молодежато спускаются небольшими группами по узким, гнущимся сходям, направляясь в ночную прогулку по барам...

К полуночи армия рабов рассыпается по конурам и углам, наполняет гортанным стрекотом зловонные улочки китайского города. Многие из них, живущие далеко от места работы, отстают по пути и сваливаются спать на улице, под открытым небом, за стеною, под лестницей, у ворот, закутавшись с головою в рогожу, в тряпье. Местами, чтобы сохранить теплоту, они лежат, тесно прижавшись друг к другу, сплетаясь руками и ногами, одной сплошной живой массой, как рыбы в неводе. Индусы-полицейские, с полным сознанием своего превосходства над жалкими бездомными

существами, важно шагают с ружьем на плече мимо куч сплетенных живых тел, не решаясь прогнать несчастных рабов, застывших в тяжелом сне после двадцатичасового труда. Из всех мрачных углов плохо освещенных китайских улочек доносится громкий, тяжелый храп кули.

В Международном квартале, вблизи скакового поля, где расположены китайские увеселительные трактиры, рестораны и театры, жизнь бьет ключом. Густая мужская толпа медленно течет по узеньким улочкам, задерживаясь у ярко освещенных трактиров, откуда несется тонкое взвизгивание китайских певиц. Широкие деревянные лестницы ведут наверх, в общую залу. На эстраде, под оглушительную, первобытную музыку гонга, барабана, пастушечьих флейт и визгливых двуструнных худзин, китайка-подросток лет тринадцати поет народную песенку, аккомпанируя себе на плоской гитаре-пипе. Посетители сидят за четырехугольными столами на табуретках, сосредоточенно курят длинные металлические трубки, пьют из маленьких чашечек ароматный зеленый чай, приправленный пресными зелеными маслинами, изюмом или финиками. Меж столиками продавцы разносят папиросы, конфеты и фрукты. Бой церемонно прислуживают гостям, подносят на деревянных подносах чай, ликеры, горячие полотенца для обтирания рук и лица.

Певицы на эстраде сидят лицом к публике за длинным, массивным столом, покрытым пестрой скатертью, пьют чай, курят трубки или папиросы, зажимая их тоненькими пальчиками, едят фрукты, совершенно не стесняясь окружающих посетителей. Они одеты в яркие шелковые штанишки и курточки, густо накрашены, с подведенными глазами и зачесанными в длинные черные косы волосами. На руках у них поблескивают массивные кольца и грузные золотые браслеты, в волосах металлические украшения. Набранные в чужой, Су-Чжоусской провинции, они автоматически прислушиваются к красивому, нежному голосу подруги, временами выплывающему из адского гула оркестра, холодные и бесстрастные, далекие от пестрой толпы алчущих, опьяненных мужчин, следящих за подростками за столом воспаленными глазами. Закончив пение, певица

скрывается за красным шелковым пологом с золотыми иероглифами, Ее место занимает другая девушка, с таким же детски-бесстрастным лицом, гладко зачесанная, с обрезанной челкой на лбу над раскосыми, узкими глазками.

Шум на улицах, как на базаре в большой торговый день. Отовсюду несется адская китайская музыка; над всеми голосами и звуками вздрагивает медный гонг. Рикши с трудом протискиваются среди густой толпы и запыхающийся, отрывистый окрик, звенит в ушах. В узких проходах, где виднеются уходящие вдаль черные двери каморок, освещенных тусклыми керосиновыми ночниками, зазывают прохожих китайки-проститутки, молодые крашенные женщины в белой одежде. Здесь же, придерживая рукой тоненькую ручку подростка-девочки, старуха дожидается любителя... На углах, в передвижных кухнях, китайки продают вареные пельмени, пирожки, готовят клейкое варево из требухи. В фруктовых лавках манят взор горы фруктов: бананы, апельсины, груши, яблоки, сливы, виноград, арбузы, дыни, свежие финики и миндаль живописными высокими пирамидами разложены на прилавках, распространяя цветочный, терпкий запах вокруг. Среди прохожих карабкаются на четвереньках калеки-нищие...

Всю ночь не смолкает шум в «веселом квартале» Международной концессии. Плач и визгливый хохот чередуются с оглушающим гулом китайских оркестров, торопливый гортанный говор и исступленные крики, придыхательное, вульгарное зазывание старых мегер и тонкий, кошачий визг подростков-девочек в чайных домиках, неожиданные свистки и звон разбиваемой посуды под ногами — все эти звуки покрывают собою тяжелые, будничные гудки пароходов со стороны набережной.

Вместе с голубым рассветом оживает стон кули, несущийся над городом:

— Хе-а-хо... хе-а-хо... хе-а-хо...

Наступает новый день в городе Желтого Дьявола...

В БАРЕ

Большая зала ярко освещена дуговыми лампами и электрическими лампами. Стены и потолок разукрашены пестрыми, бьющими в глаза бумажными лентами, международными флажками, дешевыми зеркалами и гравюрами. Меж столиками, как угорелые, мечутся китайцы-бои в длинных голубых халатах, с несвежими полотенцами на одной руке и четырехугольными стеклянными подносами, уставленными маленькими рюмками с разноцветными ликерами, пузатыми бутылками виски и большими, мутно-зеленоватыми, янтарными стаканами абсента. Мужчины, большей частью конторские клерки, пароходные служащие и матросы, держатся чрезвычайно свободно, корчат из себя магнатов в этой стране рабов. Среди них ярко выделяются молодые женщины в кричащих, сильно декольтированных платьях, наполовину оголенные, с размалеванными лицами и пунцовыми губами, ежеминутно раздражающиеся резким сипловатым хохотом, от которого непрерывно звенит в ушах и усиленно стучит кровь в висках, наполняя все тело сладкой истомой...

В общем гуле языков и наречий отчетливо раздается английская речь мужчин и русская — женщин. Неуклюжерасторопные бои, как тени, скользят мягкими туфлями по гладкому полу, неслышно исполняя поручения гостей. Изредка, кто-нибудь спьяну загорланит песню, но тут же его остановит хозяйка — необыкновенно полная женщина, давно перевалившая четвертый десяток, — густо накрашенная, с оголенными массивными руками и огромной отвислой грудью, выпирающей из низкого, узко стянутого лифа. Если ее уговоры также не помогают, она дает знак оркестру на подмостках и веселый мотив «ту-стэпа», как гром в тихое, ясное утро, заглушает все голоса и звуки вокруг.

На эстраде первая и единственная скрипка квартета — Мендель Залманович — сидит лицом к публике, меланхолически опустив острый, худой подбородок на инструмент. Позади его пыхтит на флейте красный, как рак, с одут-

ловатым лицом, француз Пьер Ронсар, недурно говорящий по-русски от постоянного общения с женщинами бара. В правом углу орудует на барабане, на литаврах, кастаньетах, колокольцах и еще с полдюжины подобных инструментов филиппинец Мигуэль ди Санто, а по левой стороне от первой и единственной скрипки бренчит на расстроенном пианино поляк Вацлав Лонговский, — дирижер «оркестра»...

В зале уже порядочно жарко и ночная жизнь бара входит в свою обычную колею. Все глуше раздаются голоса, а женщины мелькают в танце полуобнаженные, раздражающе подчеркнутые, привлекают мужчин неприкрытой, всем доступной наготой. Быстрей, развязней и уверенней становятся движения и жесты, а осовелые, опьяненные страстью и алкоголем взгляды и грубые объятия матросов еще сильнее разжигают присутствующих мужчин, настраивают на особый лад женщин, хищно извивающихся в такт призывно-сладострастным звукам «кэк-уока», «матчиша» и кабацкого «танго»...

На эстраде Мендель привычно водит смычком по струнам, одним полуприщуренным глазом наблюдая за женщиной, известной в баре под именем miss Кэти, а на деле — законной женой своей — Саррой. Она — высокая, стройная брюнетка с красивыми синими глазами, тонким орлиным носом и маленьким ртом — изящный, законченный тип, какой, изредка, ныне еще встречается в окрестностях Кордовы или Гренады, этих древних обиталищ испанских евреев. Черное, узкое, облегающее вокруг тела платье с низким декольте, без рукавов, еще ярче, отчетливей выделяет остроокругленные, упругие формы ее, а обнаженные мускулы рук и груди и мягкие ямки шеи и локтей придают ей волнующую девственную прелесть, манят сладострастной истомой...

В баре никто не знает, что она жена скрипача Менделя. На рассвете они обыкновенно возвращаются домой на рикшах, разными улицами, чтобы отвлечь подозрение. Лишь в убогой каморке, в другой части города, где под присмотром китайки-амы спит, затерявшись в огромной кровати, восьмимесячная дочь — Двойреле, — кабацкий скрипач Мен-

дель и его жена, служащая приманкой для пьяных, похотливых мужчин и развращенных портовыми проститутками матросов, впервые за долгую ночь обмениваются дружескими, супружескими фразами...

Кружащиеся под звуки «ту-стэпа» пары разгоняют сие, густые клубы табачного дыма. Филиппинец усердно побрякивает кастаньетами, бьет в литавры, гремит в гонг. Мендель также невольно разгорается: подгоняемый быстрым темпом, он иступленно-весело водит смычком по струнам, устремив застывший взгляд в дальний уголок залы, где уединился красивый молодой мичман с Саррой. Она сидит спиной к эстраде, но по ее движениям, резким и отрывистым, по доносящемуся к нему смеху, грудному и искреннему, он чувствует в ней что-то новое, до сих пор небывалое... Всегда равнодушная к ласкам и объятиям чужих мужчин, она близко-близко склоняется к плечу мичмана, касаясь матовыми, вьющимися волосами его горячей щеки, впивается глазами в его глаза, голубые и детски-ясные, с серыми зрачками. Мендель не слышит, о чем они говорят, но видит, чувствует возбужденное дыхание жены, супружеским опытом угадывает ее интимную ласку... Вот тот обнял ее, вкрадчиво просунул руку в открытый вырез платья на груди и таинственно шепчет ей что-то на ухо, отчего бледно-матовая шея и верхняя часть оголенной спины мгновенно покрываются густым слоем алой краски. Инстинктивно она делает слабое движение вывернуться из его объятий и сама еще теснее, интимнее прижимается к мичману упруго-выпуклым бедром, обдавая его жгучим, взволнованным дыханием...

Охваченный ревностью, Мендель иступленно водит смычком по струнам. Филиппинец одновременно гремит на всех своих инструментах и еще страстнее, беззастенчиво-грубо извиваются в диком, животном танце пьяные тела, скользят в дыму тесно обнявшиеся пары. У самой эстрады, на коленях у матроса, расположилась пьяная Груня. Взлохмаченная, растрепанная, с выкатившейся из лопнувшего лифа дряблой грудью и подвернувшейся в бесстыдной позе юбкой, из-под которой выглядывает оголенная нога повы-

ше колена, пестрящая темно-синими и фиолетовыми пятнами, она производит отталкивающее впечатление. Даже матросы за ближним столом, глядя на нее, брезгливо отплевываются. Лишь матрос, у которого она распростерлась на коленях, грубо издевается над нею, льет ей в раскрытый, пьяный рот жгучий виски, зло обнажает ее и заливает оголенное, бесчувственно-пьяное тело липкими, сладкими ликерами...

Музыка умолкла и снова гул многих голосов и истеричный, сипловатый хохот женщин наполнил всю залу. Мендель вытирает вспотевший лоб и жадно глотает поднесенный ему стакан холодного пива. В дальнем углу все так же мичман воркует с его женою. Временами она бросает, искоса, через плечо, рассеянный взгляд на эстраду и все теснее и тесней жмется к своему собутыльнику. На столе, в чаше со льдом, плавают бутылка дешевого шампанского и женщины завистливо оглядываются на них, двусмысленно перемигиваясь... Мендель видит и не видит: к нему обращается дирижер, флейтист рассказывает ему что-то смешное на ломаном языке, а он, слепо глядя в ноты, прикован взглядом к дальнему углу... Сарра и мичман окружены со всех сторон занятыми столиками, пьяные от страсти и вина. По временам они украдкой надолго впиваются губами в губы и все теснее сближаются, сплетаются руками и ногами, глядят друг на друга отуманенными, любовными глазами...

Мендель бледен и расстроен. Его черные глаза хмуро косятся исподлобья и ежеминутно вздрагивают плотно сжатые, побелевшие губы. Он с ненавистью смотрит на своего соперника напротив и впервые чувствует, до чего ему дорога жена, видит, но не верит, никак не может постичь ее измены. Мичман о чем-то шепчет ей на ухо и по его губам, упругим и чувственным, по ее наивно-скрытой ласке, по тому, как она замерла, склонившись к нему, вцепившись тонкими, бледными пальцами в большую, загорелую мужскую руку, Мендель угадывает, что она всецело во власти другого. Бессильная злоба и ревность обуревают его. Ему неожиданно вспоминается брачная ночь, когда она,

обессиленная страстью, покорно целовала его руки, смотрела на него глазами рабыни, опустив взор к земле... И тут же, перед глазами, он видит красивого мичмана и жену, такую же покорную, жадно впивающуюся губами в большую, загорелую, ненавистную руку... Ему кажется все это кошмарным сном. Сознанием он еще понимает, что покуда не слишком поздно, надо что-либо делать, чтобы отвлечь то страшное, черное, о чем он боится думать. Ему хочется предупредить жену, вырвать ее из цепких объятий в дальнем углу, громко крикнуть на всю залу, чтобы выкричать нестерпимую боль... Он подымается с места, делает какое-то движение на эстраде, но тут же бессильно опускается на стул, уловив немой знак дирижера, и вздрагивающими пальцами берется за скрипку...

Раздражающая мелодия «танго» опять наполняет залу. Пары медленно плывут, ритмически изгибаясь в сладострастном порыве, чувственно касаясь телами... Все так же беззвучно скользят китайцы-бои, бесстрастно-почтительно протискиваясь в толпе оголенных женщин, изредка хлопнет бутылка шампанского или неумолчно захохочет в истерике пьяная женщина. Покинутая матросом, пьяная Груня тихо рыдает, вздрагивая всем телом, опустив заплаканное лицо на стол, покрытый залитой разноцветными ликерами мокрой скатертью...

В дальнем углу поднялись со своих мест мичман и Сарра, медленно продвигаясь меж танцующими к выходу. Высокие, стройные и гибкие, они радуют глаз красивым сочетанием силы и неги, вызывают зависть в окружающих. У красной драпри, скрывающей двери отдельного кабинета, они неожиданно останавливаются. Несколько секунд они молча переглядываются влажными, отуманенными глазами и решительно направляются в кабинет. За ними услужливо бежит бой с заказанными напитками на подносе...

В залу ввалилась толпа пьяных американских матросов и заняла единственный свободный столик у дверей. Вначале они присматриваются к обстановке, к окружающим, дружески подмигивают танцующим женщинам. Затем постепенно начинают ссориться, буйствовать и приставать к

гостям. Один из них, худой, высокий, с налитыми кровью пьяными глазами, направляется через всю залу к мирно сидящему за отдельным столом молодому клерку-англичанину, занятому объяснением в любви ни слова не понимающей по-английски рыжей иркутянке, мисс Нине. Грубо схватив девушку за оголенный локоть, матрос тащит ее за собой танцевать. Англичанин приподымается с места и вежливо заявляет ему, что женщина занята с ним. Матросу только этого и нужно было. Не успевает англичанин закончить фразу, как сильный удар кулаком по носу сшибает его с ног, опрокидывает бутылки и стаканы со стола. Англичанин, размазывая кровь на лице, поднимается на ноги и начинается обычная кабацкая, кулачная дуэль. Присутствующие мужчины настораживаются и, вместе с бледными, испуганно взвизгивающими женщинами с затаенным дыханием смотрят на середину бара, где теперь, вместо танцующих пар, под звуки «уон-стэп» барахтаются окровавленные, путающиеся в клочьях собственного платья дуэлянты. С каждой минутой растет лужа крови на полу, но никто не смеет разнять «честно» дерущихся, — таков непреложный закон нравов, занесенных через Великий океан в далекий Шанхай... Наконец матросу удается прижать ногой изуродованное лицо обессиленного клерка к порогу бара и он, покачиваясь, в свою очередь размазывая платком кровь на собственном лице, отрезвевший от побоев, возвращается гордый, исполненный сознанием своего достоинства, к столику своих друзей...

Окровавленный клерк отправлен на рикше домой, лужи и пятна крови на полу бои тщательно замыли спиртом, и ночная жизнь бара продолжается, такая же пьяно-утарная, откровенно-животная, удалая... Воздух, насыщенный перегорелым алкоголем, табачным дымом и потом полуобнаженных, горячо возбужденных тел, одуряюще мутит головы. За столиками женщины ласкаются к мужчинам, целуют их и клячат напитки, тут же выливая содержимое рюмок и стаканов под стол, чтобы получить с хозяйки больше процентов... Все так же, в такт ритму, изгибаются в танце пьяные пары, томные и усталые, обессиленные бессонной но-

чью и разгулом.

Мендель играет, устремив застывший взгляд на красные драпри отдельного кабинета. Понемногу зала пустеет. За столиками остались доканчивать прогульную ночь небольшие группы мужчин, сонные и вялые, падающие с ног. Женщины также размякли и странно выглядят в резком свете электричества малеванные лица, словно кукольные маски, вываленные в пыли. Они громко зевают, широко раскрывая рты, непрерывно плюют от тошноты, поблекшие и безобразные, с остро выступающими наружу, сквозь стертый слой красок, крема и пудры морщинами, угрями, прыщами и синяками...

Неожиданно всколыхнулись красные драпри и скрипнула дверь отдельного кабинета. Прищуривая глаза от чересчур яркого света, выходят в залу Сарра и мичман, смущенно оправляя на себе платье, направляясь к выходу. За ними услужливо подпрыгивает бой, их испытующе провожают нагло-любопытные взгляды мужчин и женщин... Через короткое время Сарра одна возвращается в залу, побледневшая, томная и усталая, с влажными глазами и растрепанными волосами.

Она лениво опускается на первый попавшийся стул, безвольно опустив белые, змеевидные руки вдоль тела. Ее сейчас же зовет к своему столу полный пожилой мужчина, завсегдатай бара. Она безмолвно садится возле него, привычным движением опрокидывает себе в рот стакан вина и одну минуту прислушивается, как тихо плывет комната пред нею, приглядывается к быстро мелькающим электрическим лампам, окрашенным в туманно-пестрые цвета... Затем ей опять становится тепло, обычно и безразлично, как всегда. В мягком тумане уплывает противное, багрово-красное, вспотевшее лицо англичанина, склонившееся к ней на грудь, заглушаются звуки и голоса вокруг. Только губы, необычайно толстые, слюнявые, выпукло и остро торчат у ней пред глазами, точно видимые через увеличительное стекло...

Света. Заспанные женщины, преодолевая сон, с нетерпением дожидаются ухода последних гостей. Один из них

уснул, свесившись головой со стула, широко раскрыв огромную волосатую пасть с черными гнилыми зубами. На эстраде музыканты упаковывают инструменты. Вялые бои снимают со столов мокрые, грязные, залитые напитками скатерти, сдвигают в один угол мебель, лихорадочно убирают залу. В наступившей тишине явственно доносится из ближайших китайских фанз пение петухов, остро, с надрывом, звучат голоса уличных разносчиков, один за другим раздаются гудки со стороны Набережной, из фабричного района Пу-Туна...

Свежий ветерок овеивает приятной, оживляющей прохладой сонные лица женщин и музыкантов. На улице, у дверей бара, их дожидается длинный ряд рикш. Они усаживаются в каретках и поодиночке уплывают в светло-голубую даль узенького переулочка. Бесшумно-мягко покачиваются резиновые колеса по рытвинам и ухабам китайского города и ритмично хлопают в голубой тишине голые пятки рикш...

В полутемной, затхлой каморке встречаются у постели ребенка Сарра и Мендель. Здесь, в сонной полумгле, все происшедшее «там», в баре, чудится им далеким, кошмарным сном. Привычными движениями они сбрасывают с себя платье, пропитанное противным запахом перегорелого алкоголя, и безмолвно делят меж собой ложе по обеим сторонам ребенка... В душе у них так много накипело, много хотелось бы высказать друг другу, но так трепетно раздается в тишине, вместе тиканьем часов, хрупкое дыхание девочки, так ноют усталые члены, так припадает к подушке тяжелая голова, что мысли сразу застывают, замирают и ненужный болтается во рту окоченевший язык...

Через короткое время комната оглашается беспокойным храпом. Немо застыли на стенах тени. Лишь часы на подоконнике продолжают неумолчно рассказывать о чем-то важном, существенно необходимом, чрез равные промежутки хрипло отзванивая время...

СИНОВО

Медленно-медленно, из неясной, туманно-синей грани ночи и дня, рождается день...

Ночь ползла тихая, безлунная, мрачная, как черный зловещий ворон накануне несчастья. И, хоть город — большой, многолюдный, а топот гетт по деревянным мосткам и грохот колес неумолчно отдавались в ночной тиши, хоть на углах безнадежно мерцали блеклые, жидкие огни фонарей и изредка долетали из городского сада высокие ноты музыки, но Синово, больной и слабой, чудился многоголосый вопль и отдаленный запах кладбища. Смешанный запах тления и пышных цветов не оставлял ее всю ночь...

Сквозь тонкие перегородки она слышала голоса, хохот, шепоты и страстные, любовные лобзания подруг и мужчин, грустно и нежно плакали струны кото и, по временам, ломались в тонкие дверцы ее клетушки подвыпившие солдаты, японцы и иностранцы... А когда ночной шум «веселого» дома приутих, когда беспокойный храп и неожиданные сонные вскрики раздавались почти во всех клетушках по обеим сторонам длинного коридора, Синово вышла на крыльцо и села на порог, поджав под собой миниатюрные бронзовые ножки...

Клонит к рассвету. Небо темно-серое, скучное и злое. Ветер сдержанно стонет и издали, со стороны небольшой рощицы напротив, доносится угрюмый вой деревьев. Перед крыльцом, сейчас же за гнилыми, провалившимися мостками тротуара, блестит огромное, глубокое месиво грязи, а с ближайшего угла раздаются в предрассветной тиши хлесткие удары кнута и звериный, гортанный, с высоким фальцетом крик китайца-возчика:

— Ио-гу... ио-гу... ио-гу-гу...

Лицо у Синово полное, нежное, со свежим румянцем и мягкими чертами, как наливное яблочко. Иссиня-матовые черные волосы вьются слегка и причесаны низко, по-европейски. Глаза большие, широко раскрытые, немного близорукие и детски удивленные, оттененные густыми черными

ресницами, а взгляд, мягкий, ласковый, скрадывает косые щели у переносицы, придает девушке сходство с гречанкой или грузинкой. Лишь темно-лиловое шелковое кимоно со светлыми серебристыми разводами да пестрый, яркий оби, завязанный сзади широким крылом, показывают, что обладательница их — японская девушка-гейша.

Сидит Синово на пороге и смотрит близорукими глазами вдаль. Туманная синева становится все светлее и голубей. Ветер крепнет и шумит, гроыхает вывесками и заборами, бьет в лицо ледяной росистой струей.

А Синово сидит, охватив обеими руками колени, смотрит на малиновую, все светлеющую полосу восхода за железнодорожной насыпью, на никнувшие к земле деревья и кусты напротив, и тихо поет про себя:

Нагэки цуцу
Хитори нуру-го но
Акуру ма ва
Икани хисасики
Моно то ка ва сиру*.

Бледный рассвет окутывает город прозрачным голубым туманом. Через полотно дороги гроыхают бесконечной чередой, с адским скрипом и взвизгом, китайские арбы и таратайки, нагруженные свежей зеленью, домашней птицей и поросятами. Куда-то побежала, мелькая белыми носками на высоких геттах, служанка-японка. По грязи мостовой ковыляет пьяный босяк с прорванной до бедра штаниной.

Электрический фонарь над крыльцом продолжает тускло гореть, отбрасывая широкую шарообразную тень вокруг. Веселый дом понемногу пробуждается. Выходит заспанный, бледно-желтый китаец-бой, побрякивая ведрами на бамбуке. Слышен плеск воды, шорох сандалий, хлопают дверцы в клетушках гейш. На крыльцо выходит пожилой

* Когда, тоскуя, проводишь ночь до рассвета одна, тогда узнаешь, как долги ночи... (Прим. авт.).

японец с реденькой серой бородкой и заспанными глазками, в японском костюме и обуви и европейском осеннем пальто и каскетке. Увидев девушку, он вежливо прикладывает руки к груди и церемонно кланяется ей. Синово приподымается с порога и, придерживаясь одной рукой за косяк дверей, отвечает ему на поклоны, провожая гостя, по обычаю, с улыбкой. На пороге она встречается с подругой-землячкой О-Кин из Нагойи и обе девушки вместе отправляются завтракать.

Большая комната с раздвинутыми стенами-рамами из цветной плотной бумаги походит на широкую залу. Пол весь устлан мягкими, светлыми циновками. Посреди комнаты стоят два ряда маленьких, низеньких, покрытых черным лаком столиков — «таbero», вокруг которых присели на пятках гейши, грея руки над тлеющими угольями в небольших бронзовых жаровнях. Тут же, в стороне, стоит большой «хибач», где дышит паром чугунный чайник с кипятиком и несколько миниатюрных глиняных чайничков с ароматным зеленым чаем.

При входе Синово и О-Кин женщины приподымаются на коленях и вежливо раскланиваются с ними. Появляются бои с широкими подносами, уставленными маленькими деревянными лакированными и фарфоровыми блюдами с медовыми, рисовыми лепешками, тортами, блинчиками и запеченными в формы макаронами. Женщины едят, проворно работая костяными палочками, между делом рассказывают новости, балуются друг с дружкой, хохочут... Лишь Синово, лениво подбирая куски, медленно тянет пунцовыми губками из фарфоровой чашечки нежно-зеленый чай, вдыхая тонкий аромат. Позавтракав, девушки продолжают греть руки у жаровен, болтают, усевшись на циновках перед столиками, поджав под себя ноги. Некоторые из них раскуривают тоненькие, миниатюрные, в полнаперсток трубочки с пахучим табаком, кто-то тянет из чашечки теплую саки, иные полощут руки в благовонной розовой воде и терпкие, теплые запахи, смесь сладких кушаний, ароматного табака, рисовой пудры и японских духов, густыми волнами окутывают комнату...

Дождь все так же продолжает накрапывать, мелкий и пронизывающий. «Веселая улица» уж совсем проснулась. Из «домов», окруженных глухими деревянными заборами, выходят, крадучись при дневном свете, мужчины — японцы, европейцы и, изредка, богатые китайцы в черных шелковых сюртуках, с солидными брюшками... Появляются зеленщики, разносчики, рыскают, хлопая босиком по грязи, рикши...

Женщины в клетушках прихорашиваются у зеркал. Раздевшись догола, они моются горячей водой в больших медных тазах, красятся и пудрятся, превращая свои подвижные бронзовые лица в бледно-розовые кукольные маски. В коридоре японец-парикмахер сосредоточенно-серьезно причесывает нагих женщин, ловко перебирая костлявыми, худыми пальцами длинные, иссиня-черные космы волос. Здесь же наблюдает за порядком экономка, — пожилая японка в распахнутом сине-полосатом кимоно, с изъеденным оспой лицом.

Прохожие, большей частью, — военные, скидывая в маленькой передней обувь, обходят ряды раскрытых настежь клетушек по обеим сторонам длинного коридора. Умывающиеся нагие и полунагие женщины, не стесняясь, продолжают делать свой туалет, оживленно разговаривая с знакомыми клиентами. Закончивши обычный утренний туалет, одетые женщины выходят в обширную залу-приемную и высаживаются напоказ на мягких шелковых подушках на полу, покрытом белыми толстыми циновками.

Стены приемной украшены пестрыми японскими веерами, гравюрами и картинами в красках нагих европейок и японок. В углах стоят пестрые ширмы, вдоль стен — черные лакированные комоды с миниатюрными ящичками, этажерки и маленькие «таберо», уставленные игрушечными чайными приборами. От электрических лампированных под потолком, окруженных красными абажурами, льется мягкий, приятный свет, оттеняющий предметы и лица людей теплыми розовыми тенями. Две большие зеленые терракотовые вазы-хибахи с широкими отверстиями, наполненные

тлеющими деревянными углями, пышат одуряющим угарным теплом...

После обеда, впервые за все свое двухнедельное пребывание в «доме», Синово вышла в приемную. Подруги окружили девушку и шепотом стали посвящать ее в детали своей профессии... Синово слушает молча, безучастно глядя на окружающих большими, удивленными глазами. В раскрытые двери виднеется клочок темного свинцового неба и девушка исходит тоской, вспоминая свою милую родину, прекрасную Нагойю.

Ненастный, холодный день гонит мужчин в тепло, к любви... Они входят в мокрых, пропахших сыростью пальто и пледов и скучные, бесстрастные, садятся на шелковых подушках вдоль стен, попыхивая папиросами. Девушки лениво заигрывают с ними, грея руки над тлеющими угольями, обмениваются вежливыми, церемонными фразами о погоде, о последних новостях с родины. С улицы доносятся одинокие, гулко чмокающие шаги прохожих и ритмическое постукивание гетт по деревянным мосткам. Греясь над хибачем, мужчины вкрадчиво приглядываются к женщинам, зябкие и невеселые, холодно-расчетливые, как скупые крестьяне на конской ярмарке... Посидев некоторое время на корточках пред огнем, они прямо направляются к избранной девушке и, мягко шлепая в носках по циновкам, не спеша плетутся в каморку...

Вскоре Синово пригласил молодой японский офицерик в новенькой нарядной форме, блестящей золотыми галунами и медными пуговками, красивый и застенчивый, слегка бледный от волнения. Синово благодарно улыбнулась ему влажными глазами и, в замешательстве, стала опирать на себе кимоно вздрагивающими руками. Медленно приподнявшись, она пошла вперед, мелькая короткими белыми носками, угловато-упругая и радостно взволнованная, чувствуя красивого молодого офицера за спиной. По пути, в коридоре, у дверей ее клетушки, хозяйка окликнула ее. Через короткое время к офицеру вышла старая эконожка и предложила ему взять другую девушку. Молодой человек пробормотал что-то заплетающимся языком и, скон-

фуженный, вышел в приемную, не зная, куда деваться от любопытных взглядов женщин и гостей...

К вечеру Синово поместили в одну из задних комнат, обставленных наполовину по-европейски, где жила хозяйка. Там за нею всячески ухаживали, поили ее теплой саки и сладкими заграничными ликерами. Позже, когда девушка согрелась и стала напевать, аккомпанируя себе на кото, к ней впустили шестидесятилетнего старика-грека, местного богача, для которого специально выписывали красивых молодых девушек из Японии...

В КИТАЙСКОМ ПОРТУ

Почти в центре города вьется тесными проходами и змеевидными переулками узкая улица, тянущаяся на протяжении версты вдоль Су-Чжоусского канала. Днем улицы эти с прилегающими к ним переулочками мало чем отличаются от соседних кварталов. Гортанно напевая свои товары, одиноко бродят уличные продавцы, позванивают инструментами цирюльники, неумолчно стонут, перетаскивая тяжести, кули. В черных, светящихся белым огнем горна кузницах беспрерывно лязгает железо, дробно заливаются молотки гробовщиков, изредка хрипло прокричит рикша, лавируя в узком проходе меж нависшими глинобитными стенами.

По обеим сторонам улицы тянутся зловонные канавки, переполненные отбросами, грязью и разрытыми, гниющими трупами животных. Узенькая доска над канавой ведет в заделанное толстыми бамбуковыми столбами отверстие в стене. Сквозь щели бамбуковых решеток можно разглядеть маячащие в глубине темных клетушек женские фигуры в белом.

К вечеру, когда начинает темнеть, из отверстий клетушек удаляют столбы и, одна за другой, появляются на улице грязные, растрепанные китайки с красными, заспанными глазами и изуродованными кровоподтеками и в бесчисленных ссадинах лицами. Они визгливо-громко переговариваются с разных концов, ругаются, хохочут и поют, наполняя весь обширный квартал гортанно-силовыми бранными выкриками и гоготом истеричных, испитых голосов...

В глубине клетушки виднеется узенькая лестничка со сгнившими, сломанными ступеньками без перил и тускло смердит маленький ночник перед осколком зеркала на стене, вокруг которого столпилась кучка китайнок с принадлежностями китайской косметики, делающих свой туалет к приему гостей... Они все почти одинаково одеты в белых узеньких штанишках и коротеньких курточках и лишь красочные яркие украшения в волосах и металлические греб-

ни и булавки в косах и над стриженными челками на лбу придают им базарную пестроту, очень похожую на украшения лошадей на конской ярмарке в Малороссии... Тут же в углу, за столом, сморщенные старые китайки, совершенно лысые, с засаленными черными бантами над лбом, играют в кости. Во мгле резко звучит сухой стук костей под худыми, костляво-жилистыми пальцами старых ведьм и, заглушенно, как тайна, раздаются старческие, вздрагивающие голоса, неожиданно выплывающие из-под низких балок потолка...

Среди белых женских силуэтов гуляют по улице в одиночку и группами голодные, полуголые безработные кули и портовые рабочие. Одетые в лохмотья, грязные, черные от копоти, в угольной, мучной и известковой пыли, они медленно плетутся вдоль стен, временами останавливаясь у раскрытых дверей, где оголенные китайки красятся при коптящих ночниках. Завидя группу прилично одетых купцов, женщины впопыхах выбегают из клетушек на улицу, хватают их за руки, ласкают и обнимают их, бесстыдными жестами зазывают к себе, тут же вступают в драку со своими соперницами, образуя тесно сплетенный ком живых женских тел, пока со стороны не появится всевластный, одетый в хаки с красной чалмой на голове, полицейский-индус с толстой палкой в руке...

На порогах, среди зазывающих женщин, выделяются хрупкие тоненькие фигурки девочек-подростков. Ярко и грубо накрашенные, с пестрыми ленточками в тугих косичках, они выглядят, как куколки в витринах на базаре женских тел. Некоторые из них беспомощно жмутся к взрослым женщинам или, испуганно раскрыв раскосые, черные блестящие глазки, теребят худыми, вздрагивающими пальчиками застежки на курточках, боязливо прячутся в тени каморок. Другие гордо стоят на порогах, старательно подражают проституткам, визгливо зазывающим прохожих, заложив ручонки глубоко в карманы штанишек с видом бравых новобранцев, благополучно перенесших первое боевое крещение...

Местами улица настолько узкая, что прохожие задевают стены локтями. К ночи канавы переполняются, расплываются по всей улице и далеко вокруг распространяют удушливый запах гниющих отходов и человеческих испражнений, смешанный с терпко-сладковатым запахом рисовой пудры, дешевых китайских духов и смолистых курений...

Среди клеток проституток ютятся смрадные уличные трактиры и кухни. Здесь, под нависшими сводами черных, закоптелых потолков, в густом непроницаемом дыму, на нарах у столов, кули играют в карты и кости, жадно набрасываются на деликатесы родной кулинарии, быстро работая захватанными палочками над глиняными мисочками. Кое-где гремят китайские оркестры, уличные торговцы зычно выкликают свои товары, поют, переругиваются, свистят, перебивают друг друга, спьяну заводят ссоры по малейшему поводу, а то и совсем без всякого повода, вступают в драку с соседними группами, увлекают по пути столы, густо уставленные посудой, в адском гуле и грохоте цепляются друг за друга, буйствуют и рабски разбегаются в разные стороны, завидя вдали одинокого индуса-полицейского...

С напускной важностью, медленным степенным шагом, блюститель порядка обходит свой квартал с белой палкой в руке... Кули рассыпаются перед ним по многочисленным переулкам и темным проходам; лишь купцы и солидные приказчики в темных шелковых халатах и круглых атласных шапочках-ермолках, как ни в чем не бывало, серьезно-деловито осматривают женщин на порогах, холодно прицениваясь к живому товару. Индус, поравнявшись с ними, снисходительно скалит сверкающие, ослепительно-белые нал черной бородой зубы, добродушно шутит с проститутками, коверкая китайские и английские слова. Знакомые женщины оживленно приветствуют его, ласкаются к нему, обнимают его и дикой, сдержанной страстью блещут на черном лице жгучие глаза, судорожно вздрагивает в загорелой, волосатой руке толстая палка — выразительный символ власти над пестрой толпой квартала...

Часто со стороны порта проходят небольшими группами иностранные матросы в широчайших синих штанах и форменных куртках с отложными голубыми воротниками и лихо сидящими шапками-блинами с золотыми надписями кораблей. В начале вечера они обычно мирно настроены и молодцевато шагают гуськом, вырываясь с хохотом из цепких объятий прилипающих к ним по пути женщин. Затем, побывав к концу вечера в нескольких барах и трактирах, они быстро пьянеют, становятся буйными, нападают на мирных кули и женщин, затевают кровавые побоища со встречными земляками, нередко заканчивающиеся многочисленными жертвами...

Местами из черных углублений выходят, крадучись, китайцы с бледно-зелеными лицами и больными, потухшими взглядами, от которых несет едким, одуряющим запахом опия. Потайной вход ведет из каморки проститутки в небольшую узкую клетку с тремя рядами нар по сторонам. На нарах лежат в разных позах курильщики, устремив застывший взгляд в одну точку, где, меняясь ежесекундно, плывут перед ними яркие картины и образы, навеянные расстроенной, больной фантазией. В углу над входом слабо мерцает ночник и изредка вспыхивает в черной мгле живой огонек в тоненькой трубочке курильщика, осветив на одно мгновение беспрестанно движущиеся тени на стенах...

В полутемных лавчонках старые мегеры, — родственницы и хозяйки протитуткующих женщин и подростков, — всю ночь играют в кости, дожидаясь выручек своих рабынь. Временами, запыхавшись, бойко вбежит с улицы женщина и, грузно поднимаясь по узенькой, скрипучей лестнице, тащит за руку несмелого гостя, путающегося ногами за длинные полы халата. Старухи, между делом, искоса поглядывают на клиента, опытным глазом оценивают его, постукивая костяшками. На полу в куче тряпок спят дети. Изредка раздастся во мгле отрывистый, испуганный вскрик ребенка, взбудораженно поплывут по стенам удлинённые тени и снова наступит тишина и гулкий отчетливый стук костей сливается с таинственным шепотом старых ведьм и

призывным взвизгиваньем женщин, доносящимся с улицы.

В конце квартала, в отдельном переулке, среди китайских клетушек вкраплены небольшие домики европейцев. По одной стороне переулкa тянется огромное кирпичное здание электрической станции и земля дрожит под ногами от непрерывного стука моторов. У ярко освещенных дверей стоят, как на параде, грубо намалеванные женщины-европейки в пестрых коротеньких платицах из прозрачной ткани на голое тело, позволяющих всем любоваться обнаженными ногами выше колен и неприкрытым, густо набеленным туловищем по пояс. Наиболее смелые из них, завидев группу европейцев, раскрывают свои платица и, совершенно голые, в ярком свете электричества, принимают свободные позы, чтобы привлечь прохожих... Напудренные, подрумяненные, с темными подведенными глазами, в резком свете ярких огней они выглядят, словно кукольные маски на уличном маскараде, на базаре женских тел. И оттого еще загадочней и таинственней кажутся эти женщины с малеванными холодными лицами и лихорадочно поблескивающими глазами, поющие хриплыми голосами похабные песенки почти на всех языках и наречиях, и необыкновенно заманчивыми чудятся грубые, вульгарные жесты и призывы, обещающие нечто необычайно новое, неизведанное...

К полуночи улица переполнена европейскими матросами и конторскими служащими низших рангов, обходящими бары, танцевальные залы и дома терпимости. Здесь можно встретить представителей всех наций и рас, явившихся на мировой рынок женского тела излить страсть, накопленную за долгие месяцы воздержания во время плавания по безбрежным океанам и морям. Небольшими группами и в одиночку они останавливаются у домиков зазывающих европейцев, шепотом сговариваются о цене и покорно плетутся за избранной женщиной наверх по узенькой стоптанной лестничке. В небольшом темном чулане помещается грязная постель и подобие умывальника, уставленного дешевой парфюмерией и косметикой, — единственная мебель

в убогой студии любви... В бойкие вечера, накануне праздников и воскресений, или когда в порт одновременно прибывает несколько больших кораблей, занятые женщины наглухо закрывают двери своих чуланов, и у входа толпятся кучки мужчин, терпеливо дожидаящихся своей очереди...

Рядом с электрической станцией, на набережной зловонного канала, помещаются в глубине двора городские бойни. Здесь также всю ночь кипит работа. На улицу выплывают со двора хриплые, предсмертные вопли животных и изредка, задыхаясь, визжит недорезанный поросенок, отчаянно цепляющийся за жизнь. Со двора выезжают телеги и грузовики, нагруженные ободранными, вздрагивающими, тепло дымящимися тушами животных. В темноте жутко шевелятся под короткими брезентами кровавые обрубки быков и свиней, торчат во все стороны изуродованные конечности. В ночной тиши страшно выглядят измазанные кровью китайцы-возчики и таинственно звучат их гортанно-хриплые, деловые голоса. Со двора несет сырым едким запахом крови, смешанным с отвратительным запахом гниющей требухи и навоза...

Немного дальше, ближе к центру города, светятся во мгле игрушечные японские веселые ломики, разукрашенные пестрыми бумажными фонариками над входом. В открытые настежь двери видна большая, светлая зала, выложенная мягкими соломенными циновками. У стен на полу сидят, поджав под себя ноги, молодые, размалеванные японки в пышных прическах пестрых кимоно и ярких оби. Некоторые из них грустно напевают вполголоса, аккомпанируя себе на кото. Прохожие снимают обувь в маленькой передней-садике, отгороженной от улицы невысоким деревянным забором, и входят в дом с вежливыми, церемонными поклонами. К ним немедленно подсаживаются женщины и постепенно, по точно установленной программе, выполняется весь несложный обряд японской покупной любви. Сначала пьют в общей зале с женщинами теплое саки и европейские ликеры, хором поют национальные песни под нежный аккомпанемент кото. Затем, выбрав одну из присутствующих женщин, отправляются за нею в темный кори-

дор, по сторонам которого помещаются небольшие клетки с картонными передвижными стенками. В углу клетки стоит миниатюрный комодик, игрушечный столик из черного дерева вышиной в пол-аршина, на полу, на циновках лежит тоненькое шелковое одеяльце и деревянная подставка для головы...

Когда торговля в домиках неважная, товар показывается лицом... Все девицы выходят в переднюю и выстраиваются у дверей, мелькая ярко-красочными шелковыми кимоно и оби и металлическими украшениями в пышных прическах. Переминаясь с ноги на ногу, они стоят покорные и безмолвные, чуть-чуть вздрагивают в истоме телами, изящно подгибая оголенные, упруго заостренные колени, как подстреленные лани. Стройные и хрупкие, они выделяются в международной толпе женщин скромной ласковостью в движениях и безмолвно оглядывают проходящих мужчин, обещая им томными взглядами любовную негу и беспрекословное повиновение развращенным прихотям. В этом море грязных, похотливых людей они, в сравнении с убого одетыми китайками, кажутся выхоленными в неге сказочными принцессами-красавицами, словно яркие цветы на темной зелени....

На рассвете женщины становятся назойливее и смелее. Они ловят прохожих за руки, с отчаянием цепляются за длинные халаты навязчиво тащат их в свои каморки. Толпа мужчин становится все реже и реже, часть из них остается в грязных, зловонных, кишящих насекомыми клетушках проституток, другие спешат на корабли, в порт, к ежедневному труду. С реки веет освежающий ветерок, уносящий смрадную, удушливую вонь, скопившуюся, как едкий дым над улицей. Вдалеке, в городе, по одному тают электрические фонари и газовые рожки. Становится светлее и уже явственно доносятся первые звуки проснувшегося дня.

Вместе с первыми косыми лучами теплого южного солнца заканчивают игру старые мегеры в клетушках. Они складывают костяшки и вяло подсчитывают проигрыш. При смешанном свете дня и тусклого ночника слепятся красные, воспаленные глаза, еще страшнее выглядят сморщен-

ные черепа и старческие уродливые лица. Они, мрачные, укладываются на нарах, лениво зевают и плюют с тошноты и, в невеселых думах о проигрыше, недовольно кряхтят, словно разбитые, дребезжащие машины... Вслед за ними молодые женщины и подростки закладывают наглухо столбами входные двери и отправляются наверх в свои каморки...

Тихо на «веселой улице»...

Спят, развалившись в своих клоповниках, жалкие, несчастный рабыни, громко храпящие в беспокойном сне, чтобы через несколько часов опять проснуться к разврату, побою и пьянству. Лишь изредка сквозь наглухо заколоченные двери раздается по пустой тихой улице ноющее, однотонное всхлипывание женщины...

Со стороны Пу-Туна доносятся победные гудки фабричных сирен, слегка заглушенные невидимой далью, такие резкие, властные, всемогущие... И, с каждым гудком, все нервнее, напряженней спешат кули, словно огромное стадо, подгоняемое визжащим свистом кнута...

СМЕЮЩИЙСЯ БУДДА

На берегу зловонного канала, против строящегося пятиэтажного здания фабрики, стоит древний буддийский храм, окруженный слепой каменной стеной. Вдалеке за храмом тянется огромный пустырь, усеянный могильными курганами и истлевшими, рассыпавшимися от ветхости гробами, над которыми кружатся целые тучи хищных птиц. На горизонте чернеет зубчатый вал городских стен, зеленеют берега мутно-желтой речки, уходят вдаль светло-серые просынные поля, скрываясь за черной башенкой высокой пагоды, окруженной каменными человекоподобными чудовищами — древними памятниками княжеской семьи. Еще дальше видны серые, продолговатые хибарки деревни с остроконечными, лестницеобразными черными крышами, похожие на покинутые гробы великанов.

Из огромного внешнего двора базара высокие зубчатые ворота с характерными китайскими орнаментами ведут в первую храмовую залу — «Храм Царей Небес». В четырех углах стоят четыре божественных Стража храма, символизирующие четыре страны света. Восток держит в руках лютню¹, Юг — саблю², Север — зонт³, а Запад — змею⁴. В центре залы, лицом ко входу, сидит поджав под себя ноги, вечно смеющийся Будда⁵. Позади Будды помещается главный из тридцати двух военачальников Небесных Царей.

Настежь раскрытые двери «Храма Царей Небес» ведут через небольшой внутренний дворик, выложенный каменными плитами, с засохшими пальмами в углах, в главную залу. У задней стены сидит божественный Ши-Цзя-Му-Ни⁶ с двумя товарищами по обеим сторонам⁷. Позади помещает-

* 1. Чтобы музыкой исправлять сердца людей. 2. Для уничтожения злых духов. 3. Чтобы покрывать и защищать людей. 4. С помощью которой оно преодолевает и контролирует Зло. 5. Смех Будды показывает его благоволение ко всем людям, добрым и злым, без различия (Прим. авт.).

ся Всемиловитейшая Богиня Милосердия со множеством простертых вперед рук⁸, словно отвечающих на просьбы молящихся. По боковым стенам слева и справа от Ши-Цзя-Му-Ни стоят восемнадцать богов — Ло-Хань⁹.*

Судьбы богов так же разнообразны, как — людей. Одни из них ярко освещены восковыми свечами и тлеющими благовонными палочками, воткнутыми в большие вазы из белого металла, наполненные песком; перед другими лишь слабо мерцают одинокие огоньки или вьется единственный синенький дымок; иные завистливо смотрят из глубины темных алтарей на счастливых товарищей. Наиболее чтимые боги чисто вымыты и пестрят ярким красочным одеянием и позолотой; блестят, как зеркала, ярко начищенные вазы с песком. Остальные боги покрыты толстым слоем пыли и в неровном свете огней еще мрачнее и таинственней выглядят страшные лица с прилепленными длинными черными бородами из человеческих волос. Многие из них стоят, насторожившись, в воинственной позе, кто с копьем, кто с топором, а кто — просто с дубиной... И оттого, должно быть, в темноте чудятся шатающиеся тени на стенах, шущукаются старые ведьмы и колдуны, рыскают в черных впадинах красные черти с круглыми зелеными глазами и плачут навзрыд, носясь под потолком, бесприютные блуждающие души. Лишь медный, ярко начищенный, вечно смеющийся Будда сидит, мирно поджав под себя ноги и,

* 6. Легендарный индийский принц, основатель буддизма. 7. Ши-Цзя-Му-ни и его товарищи по обоим сторонам называются Сань-Ши-Жу-Лай («Вечные трех периодов»), т. е. со времени первоначального сознания (совести) к настоящему и будущему сознанию. Причем Ши-Цзя-Му-Ни представляет настоящее, сидящий по правой стороне от него Яо-Ши (врач) будущее, а слева — А-Мито — прошедшее. Иногда вместо трех бывает пять изображений в группе. Тогда сидящий в промежутке между Ши-Цзя-Му-Ни и его товарищем справа называется Цзя-Си, а слева — А-Нань. Оба они являются учениками Ши-Цзя-Му-Ни. 8. Богиня Милосердия бывает изображена также держащей на руках сына и во многих других позах, иллюстрирующих ее деятельность. 9) Ло-Хань — главные ученики Будды (*Прим. авт.*).

широко разинув беззубый рот, придерживает руками оголенный живот с массивными жирными складками и прыгающей от хохота пуповиной...

В глубине алтарей, позади богов, дремлют бонзы с бритыми головами. Из курительных ваз медленно выются ввысь белые колечки дыма благовонных курений. Изредка прошаркает мягкими туфлями по каменному полу прислужник-монах, раздастся легкий треск угасающей свечи, неожиданно в настежь раскрытые двери ворвется продолжительный торжествующий крик паровоза со стороны железнодорожной насыпи, отдаленным гулом доносится с внешнего храмового двора многоголосый стон толпы и неумолчно, монотонно и дробно, с мягким призывом, стучат в пустые бочонки-барабаны молящиеся монахи, напевая вполголоса молитвы.

В храм входит китайка-подросток лет четырнадцати в шелковой светло-сиреневой курточке, узеньких темно-лиловых панталонах, зеленых чулках и красных туфельках. Длинная черная коса перевита алыми ленточками. Золотые гребни и булавки с пестрыми камушками украшают кокетливо подстриженную челку над лбом, над тонкими, разрисованными бровями. Детское однотонно-нежное личико цвета темноватой слоновой кости дышит всеми порами, словно свежий нетронутый персик на зеленой веточке. Узкие, косо поставленные темно-коричневые глазки сочно блестят под черными густыми ресницами, все осматривают, любопытно ощупывают, отражая горящие свечи, позолоту и красочные одежды богов тысячью радужных огоньков. Тонкие ноздри слегка приплюснутого носика учащенно вздымаются и влажно блестят миниатюрные белые ровные зубы меж яркими, сочными, похожими на лепестки алой розы губами.

В храме полутемно, прохладно и тихо. Отдаленно бубнит молитвенный барабан в главной зале и неясным гулом врывается уличный шум. У самого входа в Храм Царей Небес, за столом, покрытым малиновым шелком с золотыми иероглифами, уснул бонза-гадатель, погрузив лицо в сложенную пирамиду свернутых бумажных папирусов, и вкусно

храпит, смачно причмокивая губами. Боги теснее сдвинулись вокруг, застывши в глубине алтарей, и неслышно дышат.

Ваза-подсвечник перед смеющимся Буддой ярко освещена свечами и тлеющими благовонными палочками. Девушка благоговейно опускается на колени на вытертой бархатной подушечке перед Буддой, дрожащими ручками втыкает зажженную свечу в песок белой вазы, припадая лбом к обнаженным стопам Его. Молитвенно потрясая сложенными ручками, она о чем-то умоляет Будду, тоненькая и хрупкая, и трогательно выглядывают оголенные нежные полоски ножек между короткими темно-лиловыми штанинами панталон и шелковыми зелеными чулочками с голубыми подвязками... Дрожащие огни свеч отражаются в блестящих капельках-слезинках, стекающих по упруго-выпуклым щечкам, и гулкое эхо отдает сонном звуков тоненькое детское всхлипывание. Вместе с девушкой звонче рыдают бесприютные блуждающие души под потолком, быстрее бегают тени по стенам и грозно мечут сердитые взгляды сонные боги во мгле. Лишь молодой бонза в красной восьмиугольной шапочке спрятался за дымом благовонных курений в глубине ближайшего алтаря, приковав взгляд к девушке...

Поддерживая руками оголенный живот с жирными складками и прыгающей пуповиной, смеется Будда....

Во внешнем дворе храма солнце немилосердно жжет с высоты. Накаленный воздух радужно дымится из куч мусора и отбросов, распространяющих далеко вокруг одуряющее зловоние. У ворот полунагие китайцы, напевая, выкрикивают свои товары. На низких прилавках, в корзинах и на земле возвышаются кучи арбузов, дынь, винограда, груш, яблок, персиков, бананов, абрикосов, апельсинов, помидоров, редьки, репы, лука, чеснока и других фруктов и овощей.

Под открытым небом работают переносные базарные кухни. На больших сковородах, наполненных до краев черным пригорелым бобовым маслом, жарятся пирожки и лепешки самых разнообразных видов, готовят разное жар-

кое, коптят над огнем кур, гусей и целых поросят. Тут же в деревянных лоханках уличные повара месят тесто для лапши, пельменей и пирожков, погружая до плеч обнаженные вспотевшие руки, покрытые толстой корой грязи. В больших жестяных чанах варят различные супы, пельмени и лапшу: белые клубы пара и угарный чад окутывают весь обширный двор, пропитывают противным запахом всю толпу. Вокруг кухонь столпились голодные стаи кули с глиняными мисочками в руках. Они ловко орудуют захватанными грязными палочками и жадно хлеблют из мисок мутные супы и варева из гнилья и отбросов.

В углу двора дают представление странствующие актеры, зазывая публику неистовым боем в барабан под аккомпанемент оглушающих гонгов и визжащих скрипок. В пестрых, богато вышитых исторических костюмах, с примитивно приклеенными, необыкновенно длинными бородами и усами, разукрашенные неестественно-яркими красками, они изображают богов, добрых и злых духов, чертей, ведьм, колдунов, императоров и мандаринов. Окружающая публика бурно переживает представление, скупо подбрасывая в подставленный таз медные дырявые кеши.

На паперти храма, распростершись ниц, воют и искусно плачут нищие, проливая вокруг себя лужи слез... Безрукие, безногие, с черными ужасающими дырами вместо носов и глаз, с обнаженными отвратительными язвами, они пресмыкаются по земле, ловят прохожих за ноги, за длинные халаты, оглашают воздух рыданиями и охрипшими причитаниями...

У боковых стен храмового двора за небольшими столами расположились китайские представители свободных профессий. На каждом столе красуются атрибуты ремесла. Целые горы свернутых бумажных папирусов, ящички туши, разнообразные кисточки для письма. У зубных врачей, среди страшных, бросающих в судорогу окровавленных железных инструментов, красуются большие ящики, доверху наполненные вырванными зубами — неоспоримое доказательство и лучшая реклама искусству врача... Тут же лекари ковыряют ржавыми инструментами отвратительные, гнойные

язвы больных, смазывают оттеклие до черноты глаза едкой мазью, делают на голых телах пациентов уколы длинными стальными булавками, на глазах публики лечат половые органы больных венериков... Специалисты по уколам в свободное время упражняются на восковой фигурке человека, истыканной булавками. Окруженные толпой клиентов и прохожими, брадобреи мастерски работают ножницами и ножами-бритвами, между делом неумолчно заговаривают зубы взрослым, рассказывают сказки ребятам, чтобы они не двигались под острым лезвием. Благополучно вышедшие из-под искусного ножа цирюльника клиенты моются в позеленевших медных тазиках, не брезгуя водой своих предшественников...

В глубине постройки, против ворот храма, где воздвигается огромное пятиэтажное казарменное здание фабрики, неумолчно визжит несмазанный подъемный кран, поднимая и опуская грузные охапки лесов, груды камней, чаны с известью и мешки с песком. Вместо обычных лесов каменный остов облепляют решетки из тонких крутлых бамбуков, связанных рогожевыми бечевками и плетеными соломёнными веревками. Кули, согнувшись под тяжестью, привычно ступают по узким гнущимся сходням и доскам, и многоголосый трудовой напев вьется в небо, как предсмертный стон огромного раненого зверя:

— Хэ-а-хо.... хэ-а-хо... хэ-а-хо

В вышине, на темном фоне кирпичей, неясно маячат коричневые, распаренные тела оголенных кули. Гибкие бамбуки беспрестанно шатаются и резко скрипят под их тяжестью. Внизу почерневшие от зноя китайки месят в больших чанах известь и асфальт, каменщики подравнивают глыбы камней, тешут бревна плотники, а пот, смешанный с густой пылью, черными липкими струйками стекает по оголенным телам, покрывает их толстой корой грязи.

Под самой крышей постройки остановился передохнуть молодой кули с саженым горбом кирпичей на спине. В открытые двери храма он, должно быть, увидел распростертую ниц перед Буддой молодую девушку в лиловых панталонах и сиреневой курточке и залюбовался ее зелеными

чулочками с голубыми подвязками. Свечи перед Буддой ярко освещают милое детское личико, блестящие миндалевидные глазки и кокетливо подстриженную челку над тонкими, разрисованными бровями. Кули делает нечаянное движение вперед, ближе придвигается, чтобы лучше разглядеть хрупкую фигурку девушки, слепо ставит ногу и с молниеносной быстротой летит вниз с пятого этажа, подгоняемый тяжелым грузом кирпичей... К земле долетают лишь обезображенные члены его тела вместе с осколками кирпичей, обильно залитых кровью и липкими мозгами...

Работа на постройке ни на минуту не останавливается. Все так же поскрипывает несмазанный рычаг подъемного крана и хором стонут кули, таская камни, кирпичи, ведра с жидким асфальтом и известью. Некоторые из работающих внизу кули сгребая лопатами разлетевшиеся в разные стороны вздрагивающие куски живого тела и прикрывают их серым мешком из-под асфальта. Липкие, окровавленные кирпичи тут же погружаются на спину кули и отправляются в назначенное место.

Почти одновременно с явившимся полицейским-индусом выходит со двора храма молодая девушка в темно-лиловых панталонах и сиреневой курточке. Она гордо ступает среди расступающейся перед ней толпой кули и часто мигает покрасневшими узкими глазами, прищуривая их от яркого света. На одну секунду девушка в недоумении останавливается перед свежей лужей крови и изуродованными членами того, кто лишь несколько минут тому назад любовался ею... Заметив кровь, она, как ужаленная, бежит прочь, в испуге прикрывая шелковым платочком заплаканное личико...

Через несколько минут увозят останки кули, лужи крови засыпают песком и равнодушная толпа расходится в разные стороны, комментируя происшествие...

А в храме напротив, поддерживая обеими руками оголенный живот с жирными складками, все так же продолжает смеяться Будда....

ЖЕНА

Отчасти, пожалуй, главным виновником его настроения был месяц...

Приблизительно с наступлением новолуния движения Янь-Джо становились нервными и отрывистыми и заметно вздрагивали худые костлявые руки от прикосновения к обнаженным телам заказчиц-европеянок во время примерки. Всегда разговорчивый и веселый, он в эти дни угрюмо молчал и, нахмуренный, юлил вокруг заказчиц с полным запасом булавок во рту, неловко стягивал дрожащие концы сантиметра вокруг талии, дольше обыкновенного задерживал длинные, тонкие с черными ногтями пальцы на бюсте женщины, тупо млея от прикосновения к ней. Иные женщины инстинктивно замечали эти странности и высокомерно гнали его от себя; другим это было безразлично, а большинству и в голову не приходило, что грязный китаец, от которого несет противным расовым запахом с примесью чеснока и бобового масла, может что-либо чувствовать. Кстати сказать, с такими женщинами Янь-Джо держался смелее. Он отлично разыгрывал перед ними роль бесчувственного дикаря, позволяя себе рискованные вольности во время примерки...

Поздней ночью, после работы, когда его товарищи укладывались на ночлег на длинных портняжбых столах в мастерской, Янь-Джо отправлялся странствовать по городу. У фонарей ютились на углах тени-полицейские; прорывая полумглу, резким окриком гулко шлепали голыми пятками рикши; тревожно гудели мчащиеся автомобили, наполняя воздух терпкой угарной струей бензина. Янь-Джо бесцельно скитался по темным улицам и черным переулочкам, глядел на все и всех туманными глазами, заходил по пути в ночные чайные домики, переполненные ярко раскрашенными женщинами и гуляющими мужчинами, откуда далеко вокруг относились ночными ветрами раздирающий визг худзин, адский звон медных гонгов и оглушительный гром барабанов и кастаньет.

Но нигде он не находил себе покоя. Городские женщины манили его, но не давали удовлетворения. И такой милой казалась тогда затерянная в непостижимой дали родная хибарка, окруженная древними могилами предков, отец, мать и, главное, — жена — маленькая Сю...

На рассвете он возвращался в мастерскую. Примостившись в темном уголке, наблюдал, как постепенно сереет мрак, как одевается хозяйка — толстая Ю-Лин, ожесточенно почесывая обеими руками обнаженное дряблое тело, едва прикрытое тряпьем, прислушивался к сиплому храпу товарищей. И все время мысли его возвращались к маленькой Сю. Он то видел ее работающей в огороде в распахнутой на груди синей деревенской курточке, то ощущал вокруг шеи ее маленькие теплые ручки, слышал ее тихий лепет... Вслед за хозяйкой во мгле замаячила тоненькая хрупкая фигурка ее дочери Чао-Ли и, поодиночке, один за другим, с вялой зевотой, покряхтывая и покашливая, поднимались рабочие.

Сонно почесываясь, Янь-Джо вместе с другими принимался за работу. Стрекотали швейные машины, угарно шипели огненные утюги, понемногу ожили заспанные землисто-желтые лица. А когда хозяин, деловито собрав пачки образцов материала и с тюком под мышкою отправлялся на поиски новых заказчиц, в мастерской становилось совсем уж весело. Хрупкая Чао-Ли садилась с вышивкой во главе стола и бойко отвечала на циничные остроты парней, кокетничала со всеми, потряхивая стриженной челкой над карирами миндалевидными глазками, украшенной пестрыми ленточками и металлическими гребнями, булавками и розетками. Рабочие вслух критиковали заказчиц, насмехались над их странными причудами, над манерами. Заливаясь в хохот, Чао-Ли рассказывала товарищам отмеченные ею маленькие дамские тайны европейнок, по-женски жестоко, зло обнажала их, наивно доказывая превосходство китаянок над ними...

Эти циничные разговоры и вольные шутки Чао-Ли еще сильнее раздражали Янь-Джо. Ему все больше становилась противна работа. Он с тоской считал минуты перерыва; у него все падало из рук. Одна за другой являлись за-

казчицы, бесстыдные, вульгарно-крикливые и требовательные, — жены и содержанки мелких служащих, девицы из баров и домов терпимости. Раздеваясь для примерки, они оставались в несвежем белье, потные, с острым опьяняющим запахом дешевых духов и рисовой пудры, слегка заглупавшим специфический запах неопрятного женского тела... Янь-Джо сосредоточенно примеривал платья, отстеги-вал и застегивал корсеты, лифы, чертил мелком на тонком шелку, прикрывавшем обнаженное тело, дрожащими пальцами всовывал в материалы булавки и все время мелькали перед его глазами оголенные бюсты женщин, красивые и безобразные, необычайно полные, нормальные и худые, с выступающими на груди острыми костями, пестрели ажурные чулки повыше колен, яркие подвязки, нижние юбки, панталоны, а то и совсем голое тело, туманно мерцавшее сквозь прозрачную батистовую рубашку...

И хоть постоянная близость к оголенным женщинам отчасти притупляла остроту эротического чувства, но в такие дни, когда тоска по маленькой Сю достигала своего высшего напряжения, Янь-Джо стоило больших усилий, чтобы под маской холодного равнодушия к женщинам чужой расы скрывать свои чувственные переживания...

Но как бы там ни было, его странности обычно заканчивались тем, что он отправлялся на пару дней в родную деревню.

Это был нелегкий путь. Он выезжал из Шанхая в переполненном китайцами вагоне. Часа через три езды, на маленькой станции, он пересаживался на барку и томительно долго плыл по зловонному каналу среди рисовых болотистых полей. Затем приходилось долго идти пешком, пока среди могильных курганов и запущенных гробов в топкой ложбине не замаячат вдали черные слепые хибарки родной деревни.

Его приход всегда радостно переживал тощий серый песик со стоячей, выщипленной на спине скомканной шерстью и остро торчащими ребрами. Второе лицо, приветствовавшее его, была старуха-мать в несменяемых узких теплых штанах и полудюжине коротких курточек со свисаю-

щими клочьями пакли из дыр и совершенно лысым черепом. Отец и жена, обычно работавшие вместе на огороде, догадывались по оживленному лаю дворняжки о его приходе и тащились к нему навстречу. Янь-Джо вежливо отвечивал старику поклоны, задавал церемонные вопросы о его драгоценном здоровье и безмолвно передавал кланявшейся жене узелок с провизией и городскими лакомствами. Отец недружелюбно косился на сына, сердито двигал серыми, свисающими под подбородок длинными усами, потягивал свою тоненькую трубку. Он был еще не очень стар и рядом с лысой старухой-женой выглядел совсем молодцом.

Односельчане, проходя по улочке, вежливо раскланивались с ним, останавливались расспрашивать про родных и знакомых в городе. Между тем, молодая подносила чай свекру и мужу в маленьких глиняных чашечках, прикрытых блюдцами, выкладывала городские лакомства и деликатесы. Старик звучно хлебал чай, причмокивая языком, долго жевал сухие лепешки и ковриги слабыми старческими зубами и ворчал на сына. Он жаловался, что пяти долларов в месяц, получаемых за содержание снохи, недостаточно, плаксиво брюзжал, что на старости ему приходится самому обрабатывать участок в то время, когда другие старики на деревне мирно почивают в отдыхе под заботой сыновей.

Обрадованная молодая Сю, оживленная и покрасневшая, проворно услуживала мужу и свекру, грациозная и ловкая в неуклюжей деревенской одежде. Ее радость еще больше раздражала старика. Шамкая редкими зубами вкусные городские яства, он жаловался сыну на сноху, на ее лень и непослушность и, главное, что она ест очень много и отлынивает от работ по хозяйству...

Эти жалобы Янь-Джо слышал тысячи раз, знал их наизусть, но был внимателен к отцу, вежливо слушал его нудные речи, изредка извиняясь и оправдываясь. И все время с нетерпением ждал, когда старику, наконец, наскучит говорить и он отправится спать на кане* в углу, где уж ждала его старуха...

* Кан — лежанка из кирпичей; зимой отапливается снизу (Прим. авт.).

И тут же с интересом приглядывался к молодой жене, каждый раз такой новой и привлекательной, проворно шмыгавшей босиком по земляному полу хибарки, устраивавшей на ночь отгороженных у дверей животных и птиц: осла, свиней, кур и петухов.

Ночью, когда в темноте смешивался тяжелый храп стариков и животных, Янь-Джо прислушивался к тихому шепоту жены. Среди любовных супружеских ласк она жаловалась ему на тяжелую жизнь, на тоску, рассказывала о приставах свекра, что не раз он заставлял ее спать с ним на кане, на месте старухи... Утомленный ходьбой и жаркими ласками жены, Янь-Джо в полудреме прислушивался к тихому шепоту, чувствовал возле себя родственную теплоту ее тела и неясно представлял себе, о чем она говорит. Ему все мерещились убегающие рисовые поля, черные землянки поселян, разрушенные деревянные гробы и каменные могилы, обросшие зеленоватым мхом и чахлым терновником. В утомленном мозгу мелькали полунагие заказчицы, красивые и безобразные, и неотступно преследовал его образ молодой европейки, виденной им когда-то, хрупкой и нежной, с золотым крестиком на черной цепочке меж недоразвившимися острыми девичьими грудями, похожими на нетронутые восковые цветочки слив ранней весной...

Еще ему чудился монотонный стрекот швейных машин, он чувствовал угарную теплоту утюгов, и думалось ему, что хорошо было бы, если бы, лежа на большом портняжном столе в мастерской, по ночам он ощущал бы возле себя, как сейчас, теплое упругое тело жены, ее тихий шепот, ее усыпляющие, утоляющие ласки...

Весь следующий день он проводил в заботах по хозяйству, помогал отцу в поле, притаскивал запасы хвороста из леса, выполнял накопленные за месячное отсутствие работы. Молодая Сю ходила за ним по пятам, добросовестно помогала ему, довольно мурлыкала себе под нос любовные песенки. По временам, когда они оставались наедине, она просилась к нему в город, жаловалась на жестокое обращение свекрови, на пристающего свекра. Янь-Джо молча слушал ее. Он сердито думал, что если здесь делит с ним жену соб-

ственный отец, то там, в мастерской, ее будут делить с ним все подмастерья... Он вспомнил свою хозяйку — толстую Ю-Лин, неизменно вступающую в связь с каждым новым подмастерьем, и хрупкую Чао-ли, о которой идут слухи, что она уж не одного ребенка бросила в мутные воды Су-чжоусского канала... Уж чем товарищам пользоваться, да еще посмеиваться над ник, пусть лучше отец родной пользуется...

Но Сю он не говорил об этом и хмуро отмалчивался. Ему приятно было чувствовать ее ухаживанье, он с удовольствием воспринимал ее родственную ласку, со скрытым умилением следил за ее сильными, упругими движениями. Зато к вечеру, когда отец опять заговорил с ним об увеличении платы за содержание жены, Янь-Джо с хитростью горожанина заявил, что возьмет ее с собой в город. Старик, не ожидавший такого оборота, сразу онемел. Янь-Джо с возрастающей злобой наблюдал за отцом, в душе посмеивался над ним и вместе с тем почувствовал отвращение к родному дому. Ему уж успела надоесть деревня, курная землянка, близкое соседство животных, жадный брюзжащий отец, голый череп матери и жаркие ласки жены. Он тосковал по подземному гулу трамваев, по грохоту и реву автомобилей, по мастерской и товарищам. Ему недоставало звонкого хохота и пикантных шуточек хрупкой Чао-Ли...

Янь-Джо всю ночь не спал, чувствуя жаждущие неутолимые ласки жены. Вдалеке на деревне шептались ночные тени, с воем носились блуждающие души и красные черти в поисках добычи, угрюмо ворчали деревенские псы, сонно брыкались животные за оградой и изредка, не дождавшись рассвета, по ошибке закричит молодой петушок.

Так вот он каков, родной дом!...

Голубой рассвет заглядывал сквозь щели и незаделанные дыры хибарки. Янь-Джо смотрел на померкшее позеленевшее лицо Сю, на разметавшиеся во сне тонкие руки и ноги ее, и теплая жалость подступила к сердцу. Ему очень хотелось увезти ее с собою в город, манивший его, как блудница ночью, но он знал, что это невозможно.

Всегда, возвращаясь в город, в последний раз прощаясь с родителями и женой, ему бывало жаль истраченных де-

нег на поездку, прогульных дней. Он мысленно решал реже ездить домой. Но наступало новолуние и вновь, с возрастающей силой, его тянуло к маленькой Сю, такой покорной и ласковой, так доверчиво разметававшейся во сне, в его объятиях...

Светало. На улице за стеною зычно голосил бравый петух и вместе с ним запели будничную трудовую песенку крестьянин и крестьянка, отправившиеся с грузными корзинами овощей в ближайший городок:

— Хе-а-хо... Хе-а-хо... Хе-а-хо...

У ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ

Белый тупик с черными иероглифами во всю стену. Темные, загнутые вверх, острые углы серой крыши неясно выступают в сине-голубом рассвете, кажутся издали контурами таинственного замка. Тихо и прохладно. Глухо-монотонно бубнят невидимые молитвенные барабаны и часто вздрагивает гонг, протяжно и жалобно, как бессильное жужжание пчел над осенним ульем.

В отдалении, неровными промежутками, неожиданно всплывают и замирают мягкие шлепки босых пяток лампацо. В свежем дыхании ночного воздуха резко и фальшиво звучат одинокие напевы бродячих продавцов и ремесленников, напоминающие пробу инструментов в духовом оркестре. У больших узорчатых железных ворот дремлет привратник: худой, с бритой головой и редкими серыми усами, закутанный в гору тряпок. Посреди улицы, под выступом храмовой стены, плачет навзрыд калека-нищий, — отвратительное грязное чудовище, хватающее прохожих за ноги, с выставленными напоказ оголенными конечностями с гноящимися язвами. Уличные собаки старательно обходят сторонкой железную мисочку нищего с позеленевшими медяками...

В белый тупик храма упирается лабиринт узеньких улочек и проулочков, вьющихся змейками. Поперек улочек низко, почти над головами прохожих, на тонких бамбуках испаряется мокрое тряпье. Бесстыдно развеваются мужские и женские штаны, куртки, рубахи и детское белье, — распространяют вокруг тяжелый застарелый запах пота и едкого щелока. Под удушливыми тряпичными арками устало тащат ноги одинокие прохожие, тревожно перекликаются встречные лампацо и упруго подпрыгивают по рытвинам и камням резиновые колеса рикши.

Из-за стены тупика, со стороны храма, медленно и величаво выплывает солнце. Вот слабо улыбнулся широкий радужный луч по развешенному для сушки тряпью, несмело скользнул по верхним этажам над высокими слепыми,

стенами и, не успеешь оглянуться, смотришь, — всюду уж сверкает, ест глаза золотая пыль. В убогой лавчонке с настежь раскрытыми, словно черной пастью, дверями, сидит на пороге девочка-подросток в пестрых ситцевых штанишках и, широко расставив полукругом худые ножки, щеплет большим ножом полено. Вокруг нее мирно клюет чахлая курица, греется, почесываясь у стены, худая, облезлая кошка и озабоченно-деловито, всматриваясь близорукими глазами, бьет насекомых лысая старуха, высоко задрав на сухой почерневшей ноге штанину...

Рядом с храмовым двором тянется к солнцу небольшой китайский садик — собственность важного мандарина. От ворот поднимается вверх узкая тропинка, выложенная серыми плитами, ведущая острыми зигзагами и лесенками к конусной верхушке искусственного холмика. С вершины холма виден, как на ладони, игрушечный садик со всеми его крошечными причудливыми прудиками, мостиками, горками, каменными и деревянными беседками, увитыми плющом. На листьях и в траве поблескивает алыми каплями роса, еще свежо влажное дыхание ночи. На холмике, у подножия городской стены, под двумя каменными львами-чудовищами с туловищами драконов, покоятся предки владельца. В разинутых пастьях каменных чудовищ свили себе гнезда вороны и оглашают всю окрестность жутким карканьем. У прудиков в болоте, меж низких пестрых кочек, растут сочные астры, всюду разбросаны яркие кусты орхидей, тюльпанов и лилий, вкрапленных в сплошное поле диких чайных роз.

Улицы и проулки из тупика ведут к набережной смрадного канала с деревянными, полусгнившими мостками. По каналу медленно ползут, упираясь длинными шестами в дно, неуклюжие широкие джонки, плоскодонные баржи, груженные нечистотами, шаркают сплошные плоты меж берегов. За каналом, на обширной, неровной площади, окруженной со всех сторон убогими одноэтажными лачугами без окон, раскинулся китайский базар.

Всюду, насколько может охватить глаз, тянутся лари и лотки со съестными припасами, живностью, хозяйственной

мелочью, посудой, галантереей и предметами роскоши. Тут же варят и жарят под открытым небом в уличных трактирах и харчевнях, откуда несет смрадным угаром, впопыхах искусно работают ножами-бритвами брадобреи, врачуют зубные врачи, колдуны, работают портные и сапожники, цепляются за ноги прохожих калеки-нищие. В ярком ослепительном свете солнечного утра площадь кишит людьми, подобно микробам в гнилом сыре, переливается яркими живыми красками зелени, овощей, рыб, кровавых туш, сочных фруктов, птиц, загорелых оголенных тел кули и пестрыми нарядами молодых китайнок. Над всеми красками и цветами, движущимися с быстротой пущенной в небо ракеты, неподвижно застыл в воздухе темно-желтый монгольский лик с раскосыми таинственными глазами, покорный и надменный, с притаившейся вежливой улыбкой на устах.

Рыбные лари серебрятся на солнце чешуей, вздрагивают радужными полосами, залиты алыми лужами крови. Темно-зеленые прожорливые щуки с выпирающими брюхами, нежные лещи, золотисто-розоватые карпы, черные тупоголовые морские бычки, плоская полосатая камбала, серебряные мандарины, красноглазая плотва, скользкие лини, раки, крабы, морские каракатицы, пауки, лягушки, головастики, тошнотворные водяные чудовища целыми грудами ползают по столам, другие пестрят распластанными внутренностями, утопая в алых лужах. Продавцы ловко отвешивают товар, острой булавой прокалывают голову или отрезанный ломоть и галантно вручают покупателю покупку, подвешенную на самодельной бечевке. От едкого запаха гниющей рыбы, сырости, смолы и моря кружится голова, вздрагивают ноги в коленях, — сам начинаешь чувствовать себя задыхающейся рыбой на скользком прилавке торговца.

Крик и гул вокруг такой, что беспрерывно звенит в ушах. Среди монотонных зазываний продавцов, взвизга китайнок и жужжащего говора толпы неожиданно, над самым ухом, раздается звериный дикий рык, похожий на продолжительный громкий зевок, когда скулы сворачивает от скуки.

Или, вдруг, выкатится грохот ломовой телеги, зальются медяки брадобрея, часто-часто загремит гонг, откуда ни возьмись, запищат худзины, тоненько запоют свирели в китайском оркестре на похоронах, сопровождаемых искусственными рыданиями ведьм-плакальщиц в белых траурных халатах. Звуки неожиданно нарастают, поспешают вдогонку, рассыпаются вдали, как обломки глиняного кувшина, падающего на звучную сталь, покатываются медными шариками и глухим щебнем под ногами толпы и внезапно замирают перед гнусавым напевом чулочника, чей голос, словно выходящий из пустой каменной пещеры, оглушает, щекочет слух, точно заведенный над ухом граммофон.

В птичьих рядах, среди кудахтанья кур, победных возгласов петухов, металлического кряканья уток, крика гусей и зазорных фраз попугаев, поют соловьи, заливаются канарейки, щебечут на всех своих языках и наречиях всевозможные породы птиц. Здесь можно встретить редчайшие породы павлинов, колибри, лучших певунов и певич пернатого царства. Китайцы-щеголи расхаживают со своими клетками, закрытыми черным сукном от дневного света, продают, торгуют, обменивают одну птицу на другую, заботливо подкладывают корм своим затворницам. В этих рядах также положен предел китайской честности и сплошь да рядом, вместе с редчайшими дорогими породами птиц, предлагаются профанам уличные подмалеванные воробьи, пестро разукрашенные щеголи, старые соловьи сходят за молодых, а женские экземпляры за мужские. Из клеток льется на головы прохожих непрекращаемый поток птичьего помета и густой тяжелый запах зверинца неприятно щекочет ноздри, вызывает беспрестанное чиханье. Тут же в клетках делают непристойные движения мартышки, удивленно оглядывают толпу серые медвежата, пугливо отскакивают зайцы, любопытно высовывают свои мордочки пятнистые белки.

Сразу, прямо из птичьих рядов и вонючих китайских мясных, попадаешь в ювелирные лавки. Они тянутся по обеим сторонам узенькой улочки, среди угарного смрада базарных харчевен, вперемишку с художественными изделиями

из кости и антикварными лавками. На общем ярком фоне предметов из чеканного грубо отделанного золота, серебра, среди пестрой мишуры настоящих и фальшивых камней благородно выделяются мастерски исполненные вещицы из нежно-зеленоватого нефрита, прозрачного розового агата и различнейших оттенков слоновой кости. Франтихи-китайки толпами осаждают лавки и прилавки, примеривают кольца, серьги, браслеты, булавки и ожерелья, охают и хором восхищаются, показывая униженным кольцами пальцами на выставки, хохочут и кокетничают с владельцами лавок и бесчисленными приказчиками. Все они напоминают стаю пестрых бабочек, неожиданно залетевших в темную чашу леса. Оживленные взвизги и выкрики женщин дребезжат над улицей, сливаются с деловым солидным говорком приказчиков, с беспрестанным напевом в соседних лавчонках готового платья.

Молодой китаец в сером шелковом халате, с тупым круглым деревенским лицом, перекладывает высокую гору шелковых сатиновых и бумазейных штанов, халатов и рубаш, мелькающих на солнце яркими сочетаниями неожиданных красок и цветов. Приказчик, с закрытыми глазами, как поют старые птицы, без передышки напевает нудно восточный мотив, отдаленно напоминающий торжественное чтение Торы в синагоге. Мелодия монотонно поднимается и опускается, и усталое ухо напрасно ждет конца трескучей, как стук мотора, бесконечной фразы. Расхваливая товар, приказчик тут же, привычными движениями, показывает его лицом и наизнанку, пробует руками крепость материала, доброту подкладки, пуговицы, застёжки и вышивки, пока не переложит всю кучу, достигающую потолка, с места на место. Затем снова, без передышки, начинает с конца. Вокруг одежных лавок, как перед интересным уличным зрелищем, столпились полуголые оборванные кули, группы крестьян и крестьянок из пригородных деревень, прицениваются одинокие нерешительные покупатели.

Медленно, степенно хозяйским шагом обходят пищевые лотки жирные повара. Они все удивительно похожи друг на друга, выделяясь в массе худых обнаженных тел солидны-

ми животами, ленивой сытостью и критической оценкой товаров. Некоторых из них сопровождают кули с полными корзинами мяса, рыбы, овощей и фруктов. Торговцы любезно раскланиваются с поварами, обмениваются с ними вежливыми комплиментами, галантно отпускают им провизию вне очереди. Сгибаясь под тяжестью ноши, кули, как собака на цепи, ходит за своим жирным начальником, почтительно выжидает в стороне во время его любезных разговоров с продавцами, посапывает от усталости.

Среди базара, меж овощных лотков и рыбных рядов, дает концерт уличная певица. Ей аккомпанирует на худзине высокий сухой старик с забавным сморщенным лицом, реденькой козлиной бородкой и веселыми глазками. Тут же на маленькой скамеечке, ежеминутно жестоко почесываясь, тренькает в такт песне деревяшками-кастаньетами лысая старуха. Лицо у певицы рябое, изъеденное оспой, продолговато-округлое, похожее на яйцо, с узенькими косыми щелочками глаз, плоским сплюснутым носом и желтыми, словно приклеенными ушами. Над подрисованными тонкими дужками бровей опущена гладко подстриженная челка, украшенная пестрыми лентами, серебряными булавками и побрякушками. Она выдавливает из себя тоненьким голоском скудную мелодию, напоминающую весеннюю кошачью свадьбу или вой собаки на луну. Временами, когда тоненький фальцет ее поднимается фальшивыми переходами высоко-высоко, раздражая слух, точно жалобный плач щенка, не верится, что эти звуки выдавливает из себя худенькая девушка-подросток с полуоткрытым ртом и бесстрастно опущенными по швам загрубелыми руками. Лишь тощий животик ее под тесно затянутой курточкой заметно поднимается и опускается в такт заунывной мелодии, извивается в конвульсиях. Старик, поскрипывая на худзине, обходит толпу с мисочкой, весело балагурит, передразнивая певицу, отпускает шуточки, вызывающие ржанье толпы. Рядом с ним сзывают зрителей ударами в гонг и барабаны акробаты-фокусники: дают целое представление под открытым небом бродячие артисты.

В общей сутолоке и базарном гуле картины и лица беспрерывно текут и меняются, как на экране в кинематографе. Вот пробежал, крикнув над самым ухом, старьевщик. Важно обходит свой пост китаец-полицейский, худой и высокий, в смешной черной военной форме европейского образца, висящей на нем, как платье на вешалке, молодежато задрав форменную фуражку с белым широким кантом на затылок. В руке у него длинная дубина и, должно быть, от нечего делать, он забавляется, поминутно опуская ее на спины встречающих кули, угощает ею ни в чем не повинных смиренных лампацо, проносящихся в толпе с призывным криком. Вот, шмыгая маленькими, горизонтально поставленными изуродованными ножками, пробирается в толпе китаянка, а за нею, как выводок цыплят вокруг курицы, придерживаясь крохотными ручонками за ее атласные штанишки, толпится куча полуголых, подмалеванных грязных ребятишек с почерневшими на солнце открытыми задками... Редко-редко улыбнется в толпе красивое личико молодой китаянки с черными, как угольки, печально задумчивыми глазками и подрисованными аркообразными бровями, в пестрой шелковой курточке и розовых штанишках, свежее и подрумяненное, как сошедшее с рекламной картинки. Так же неожиданно легкой походкой пройдет, дополняя друг дружку, группа молодых наложниц, оставляющих после себя теплый, щекочущий чувственность, сладковатый запах гарема, вызывающий в памяти наивные китайские сказки с легким оттенком Боккачиевых новелл. Толпа между ними расступается, а мужчины умиленно глядят им вслед с чуть скрываемыми улыбками, перемигиваются. Молодой монах в широком, богато вышитом красном атласном халате медленно пробирается в толпе, ударяя палочками в подвешенный на шее пурпурно-лакированный деревянный барабан, похожий на тыкву. Он, видно, не торопится. Его бритая голова под широкой соломенной шляпой безвольно болтается, как на манекене, а остро-пронизывающие глаза маньяка-фанатика устало скользят по предметам и лицам, не останавливаясь. Встречные женщины, замедляя ход, деловито заворачивают углы своих курточек,

вытаскивают из внутренних карманов медяки и благоговейно бросают их в копилку-барабан молчаливо кланяющегося монаха. Мимо прошмыгнул черный загорелый маньчжур с огромными тюками ситца на бамбуковых коромыслах, издавая на ходу отрывистый ухающий звук, похожий на крик совы в дремучем лесу. За ним вприпрыжку, словно эхо, монотонно расхваливает свои пельмени маленький щуплый китаец, совсем невидимый под переносной кухней, распространяющей на далекое расстояние смрадный чад бобового масла и вяленого мяса.

После полудня базарная площадь заметно пустеет. Там, где раньше находились лотки, роются в мусоре бродячие собаки, тощие кошки и сотни искалеченных нищих, оборванных, полуголых и страшных, похожих на смрадных животных. Вдалеке за каналом бледнеет высокая слепая стена храма и, словно приподнятые крылья огромной летучей мыши, чернеет под ясным небом серая крыша с загнутыми кверху острыми углами.

Там и сям копошатся среди отбросов небольшие кучки желтых тел, раздается неожиданный стук закрываемых лавок и бесконечной монотонной молитвой поднимается в бесстрастную голубую высь облегчающий стон кули, припадающих лицами к земле под непосильной тяжестью кладей.

ДОЧЬ ГРОБОВЩИКА

I

В большой семье гробовщика Чжао-Го, маленькая Ин росла незаметно, как травинка в поле. Она была тоненькая и хрупкая, как болотная лилия, с коричневыми масляными живыми глазками и приятными ямочками на гладких розовых щечках. Когда она смеялась, маленькие зубы ее влажно сверкали, как две узенькие ниточки жемчуга на солнце. И походка у нее была неожиданно-веселая и упругая, как у молодого козленка в светлое майское утро.

От родителей она редко слышала ласковое слово. В мастерской вечно грохотали топоры и рубанки, визжала большая широкая пила, и пахло, как в аду, смолой, политурой, застоявшимися красками и сырым деревом. Старшие сестры не любили ее, сваливали на нее все работы по хозяйству и нередко, вцепившись длинными пальцами в черную косу девушки, били ее метлой или отшлепывали грубыми, как затвердевшая кожа, руками по щекам. Единственная подруга ее, хромоногая Иа-Ше, жила далеко за городом у Красной пагоды. Ин росла одиноко, с раннего детства привыкла безропотно переносить обиды, подчинялась старшим, была благонаравна, мягкосердечна и лишь в очень тяжелые минуты смачивала слезами свою миниатюрную подушечку на общем кане. Но обычно маленькая Ин воспринимала мир в красном цвете радости. На новогодних празднествах, когда она отпрашивалась с сестрами в храм Чен-Хуана класть земные поклоны и в едком дыму жертвенных огней возносить свои молитвы богам и предкам, встречные мужчины останавливались на своем пути и долго удивленными взглядами провожали ее розовую атласную курточку, синие панталончики из красивого блестящего шелка с матовыми цветочками и длинную, черную, девичью косу, украшенную наивными голубыми ленточками, роговыми розет-

ками, замысловатыми гребешками и серебряными булавками.

Да, маленькая Ин была недурна собою!

На той же улице помещалась антикварная лавка господин Ван-Чжи-Суня. Вход стерегли страшные, пестро разрисованные деревянные и глиняные боги, сверкавшие лаком и позолотой, свирепые драконы и крокодилы с хищно разинутыми ртами и наводившие ужас каменные чудовища. Рядом с ними в глубине лавки были выставлены фарфоровые вазы, веера, зонтики, ширмы и картины на шелку с бледными нежными рисунками, похожими на сказочный сон на рассвете. В окнах красовались миниатюрные статуэтки из дорогого красного и черного дерева, серебряные и золотые безделушки с драгоценными камешками в оправе, пестревшие нефритом, агатом, аквамарином и сапфиром, неясно светились, подобно улыбке на грустном лице, пожелтевшие от времени игривые фигурки богов из слоновой кости.

Маленькая Ин с раннего детства полюбила эту лавку, часто останавливалась по пути у входа, расширенными от любопытства маслинками глаз заглядывала вовнутрь и с раскрытым от восхищения ртом засматривалась на чудесные колечки, браслеты, булавки и застёжки, мысленно примеривала на себя пестрые ожерелья. Эта лавка на узенькой кривой улочке, среди мастерских гробовщиков, в смраде кухонь и трактиров, казалась ей раем, сказочной чудесной страной, куда попадают благонравные предки к концу своего славного земного существования. По ночам она часто видела эти прелестные вещицы во сне, а наяву грезилась ими. Все свободное время она отдавала этой лавке, сразу замечала вновь появившуюся или проданную вещь, по целым часам могла, не отрываясь, любоваться тонкой резьбой древних статуэток и теплыми живыми переливами камней. И хозяин лавки, — маленький, щуплый старичок с высоким оплывшим животом, похожий на стоящую на задних ногах лягушку, с реденькой седой бородой и слезоточивыми глазами с красными, воспаленными веками, в сером шелковом халате и черной атласной шапочке-ермолке, — казал-

ся ей необыкновенным богачом, каким-то высшим существом.

Когда Ин минуло тринадцать лет, мастерскую гробовщика неожиданно посетили сваты Ван-Чжи-Суня. Был серый осенний день. После свирепствовавшей летом холеры, скосившей порядочное количество людей, работы у гробовщика было немного. Чжао-Го, не спеша, выжигал узор на крышке гроба, злой и нахмуренный, с обрюзгшим постаревшим лицом и, время от времени, шамкающим голосом покрикивал на сыновей и дочерей, работавших тут же, среди гробов в мастерской. Увидев сватов, знакомого ювелира Чу-У и плотника Яка, — людей не бедных, пользующихся уважением во всем квартале, — Чжао-Го поднялся им навстречу, с большой церемонией усадил их за маленький столик и распорядился, чтобы подали зеленый чай с цукатами. За чаем поговорили о погоде, о делах, сплетничали насчет соседей. Чу-У морщился от едкого запаха политуры и жженого сырого дерева, неприятным холодком веяло на него от черных полированных гробов, выставленных на широких полках вдоль стен. В душе он был недоволен миссией, навязанной ему приятелем Ваном, и решил, что с гробовщиком не следует слишком церемониться и можно покончить дело проще. Он поправил свои массивные золотые очки на носу и, свысока поглядывая на гробовщика, ошеломленного неожиданным посещением столь высоких особ, спросил:

— Известен ли высокопочтенному господину Чжао-Го богатый и мудрый господин Ван-Чжи-Сунь, чья лавка, находящаяся по этой улице, ослепляет взоры прохожих своими драгоценностями?

— Конечно, известен, — ответил, заикаясь, Чжао-го. — Разве можно не знать благороднейшего господина Вана, благодеяния которого, словно солнце, освещают наш мрачный квартал...

— Так вот, — продолжал Чу-У, — мы являемся посредниками высокопочтенного господина Вана, который мечтает о потомстве и усладе остатка своих дней лицезнением вашей прекрасной дочери Ин, благоухающей, подобно лану

в императорских садах. Господин Ван поручил нам переговорить с вами об этом деле и условиться о выкупе.

Старый Чжао-Го вначале не поверил своим ушам от радости. Правда, он отлично знал, что у Вана имеется старуха-жена и наложница, что маленькой Ин несладко будет войти в дом третьей женой старика. Но зато, что за счастье сделаться родственником богача Вана, потомка мандарина! Да и выкуп, пожалуй, будет не маленький...

Однако он утаил радость и ответил уклончиво. Он откровенно признался сватам, что чрезвычайно польщен столь высоким сватовством, намекнул, что его ничтожная некрасивая дочь не стоит тех двухсот таэлей, которые необходимы ему сейчас для расширения дела, точно высчитал количество одежды и вещей, в которых нуждается маленькая Ин. Сваты, в свою очередь, удивились, зачем ему столько денег для мастерской, но вполне согласились с количеством приданого для Ин и дружески расстались с гробовщиком. Чжао-Го проводил их к выходу радостный и счастливый, с вежливыми поклонами.

Приблизительно через два месяца Ван-Чжи-Сунь прислал за маленькой Ин красный паланкин вместе с богатыми подарками. Целую неделю на улице грохотали гонги, плакали флейты, визжали худзины. Нищие и калеки квартала долго после того вспоминали вкусные яства и приятные отрывки на свадьбе дочери гробовщика. А когда маленькая Ин села в алый, позолоченный венчальный паланкин, украшенный пестрыми гирляндами бумажных цветов и, под адские звуки веселой музыки, по пути к дому мужа, подсматривала в щелку на толпу, высыпавшую глазеть на улицу, ей казалось, что она самая счастливая под небом.

Неприветливо, со скрытой злобой встретили Ин старая жена и наложница Вана, обе почти однолетки, преждевременно состарившиеся, бездетные женщины. Старый Ван боялся их длинных языков, отчасти чувствовал свою вину перед ними и не смел им противоречить. И, хоть он петушился, выставлял наружу свое почтенное брюшко, старался смотреть молодцом, — но ему редко удавалось сохранить за собой авторитет, когда обе женщины вместе задавали

ему концерт, рыдали и плакали навзрыд, как при покойнике. Он тогда бессильно мотал реденькой бородкой, слабо покрикивал на них своим женским визгливым голосом и кончал обыкновенно тем, что скрывался в своем темном алькове, заложив двери на крючок.

Ночи он безразлично проводил с молодой наложницей в маленьком алькове на пышном кане, под шелковым балдахинном, любовно вышитым когда-то первой женой в ее ранней молодости. Маленькой Ин очень нравился однообразный многозначительный стрекот сверчков и веселое пение влюбленных канареек над окном, красные атласные полотнища на стенах с большими золотыми иероглифами, — цитатами из благонравных писаний древних поэтов, художественно отделанная старинная мебель из черного дерева, перешедшая к Вану по наследству от прадеда — императорского мандарина. После нищенской обстановки гробовщика, небольшой дом мужа казался ей дворцом, а внутренний дворик, поросший сорной травой и редкими полевыми цветочками, где мирно покоились предки Вана, согривал ее маленькое сердце, радовал ее глаз, словно большой императорский парк. Она по-детски удивленно воспринимала любовь мужа, его бессильные старческие ласки. Она чересчур мало знала жизнь, чтобы понимать их, и еще меньше чувствовала... Но все же маленькая Ин любила мужа искренне и нежно, в смутной жажде любви охотно прижималась к нему своим теплым девственным телом, стройным и упругим, невольно опьяняла старика терпким вином своей юности, своим наивным восхищением...

За то, что Ин по ночам разделяла постель с хозяином, женщины на каждом шагу зло мстили ей. Они заставляли ее исполнять самые тяжелые работы по хозяйству, попрекали каждым куском, презрительно высказывались о ее происхождении, грубых манерах, высмеивали ее невежество и воспитание. Они не могли простить ей потраченных на ее выкуп денег, злились за расположение к ней старика и за многое другое, чего старухи никогда не прощают молодым женщинам. Вначале Ин пробовала жаловаться мужу на плохое обращение с нею старух, на свои обиды, просила у

него защиты. Но старик на рассвете забывал свои обещания, данные молодой наложнице ночью, в пылу юных ласк в темном алькове. Он вовсе не был дурным человеком, но придерживался древнего обычая страны не вмешиваться в домашние распри женщин. Кроме того, хитрые старухи пользовались доверием Вана и представляли пред ним Ин в самых темных красках. По их словам выходило, что дочь гробовщика неисправимая лентяйка, грубая, невоспитанная особа, которая вопреки установленным правилам китайского благочестия не уважает старших, помыкает ими. Слабовольный Ван молча выслушивал жалобы своих подруг, кое в чем не соглашался с ними, но не смел громко упрекнуть их за плохое обращение с молодой наложницей. Он проводил все свои дни в лавке, среди освященных древностью богов и драконов, любил трогать иссохшими пальцами драгоценные, художественно исполненные статуэтки, фарфоровые безделушки, побледневшие от времени акварели великих мастеров, — постепенно проникся мирным духом древних философов, поэтов и художников.

Маленькая Ин свернулась, замкнулась в себе, как улитка в раковину. Она уж перестала звонко смеяться. В свободное время она вышивала шелком на серой осенней веточке парочку голубеньких птичек с лиловыми клювами и круглыми желтыми глазками — снабжала вышивку черными иероглифами грустных стихов.

По ночам, когда старый Ван всхрапывал, вкусно причмокивая губами на ее груди, она заливалась слезами...

II

Через два года после свадьбы, маленькая Ин стала понемногу распускать тесемки на панталонах. Грудь ее набухла, и лицо получило новое прекрасное выражение молодой матери; на нем можно было прочесть гордость, нежность и затаенную печаль. Старухи, скрыв злобу, меньше стали помыкать ею, она вдруг почувствовала себя госпо-

жой в доме, где обращались с нею, как со служанкой. Старик в чаянии потомства повеселел, смотрел козырем, усилил свое внимание к маленькой Ин, заметно ухаживал за нею. На радостях он подарил ей новое шелковое платье, золотые серьги с красивыми агатовыми цветочками, много мелочей. В одно прекрасное весеннее утро из темного алькова разнесся по всему дому первый резкий крик новорожденного.

Это был худой чахлый ребеночек со старчески сморщенным личиком и бессильным писком, похожим на плач умирающего котенка. Но молодой матери казалось, что во всем мире нет ребенка красивее ее первенца. Она была счастлива своим сыном. Она все время шила ему платьица, вышивала для него шапочки, не отлучалась от его постельки. Вся ее жизнь получила новый строгий смысл и была заполнена им. Ее счастье еще больше возмутило старух. Теперь они шипели исподтишка, по временам тайно посмеивались чему-то.

Вскоре радость молодой матери сменилась тревогой. Ребенок чах и хирел с каждым днем. Он не ел, плохо спал и кричал слабо, с присвистом, как задыхающаяся птичка. Не помогли советы и лекарства врачей и заговоры колдунов и священников. Так же неожиданно, как он явился в мир, ребенок однажды громко вскрикнул и умолк навсегда. Эта смерть страшно подействовала на несчастную Ин. Она вся осунулась, опустилась, стала похожей на тень.

Опять ее единственным утешением стало вышивание нежных птичек на шелку. Она уж не стыдилась плакать на людях. Старухи снова принялись мучить ее, заставляли тяжело работать, в присутствии мужа высмеивали ее худобу, авторитетно утверждали, что она неспособна рожать здоровых детей для потомства. Старый Ван, задумчиво глядя на хрупкую, измученную горем шестнадцатилетнюю Ин, фигурой похожей на десятилетнего подростка, должен был верить им. Но все же он охотнее спал с нею, нежели со старухами, изредка делал ей подарки, проявлял к ней нежное внимание. Он все больше привязывался к ней, насколько мог холил и берег ее. Будь Ин немного опытнее, она могла

бы использовать влияние на старика, чтобы улучшить свое положение в доме. Но она была слишком молода, а в многочисленной семье своего отца привыкла к подчинению. Во всем доме у нее не было друга. Даже служанки были подкуплены старухами, не слушались молодой госпожи и обращались с нею, как с равной. Обиженная всеми, маленькая Ин тосковала в одиночестве. Она часто плакала перед маленьким гробиком сына, стоявшим в садике за домом, среди заросших зеленым мхом древних могил важных предков Вана.

В памяти молодой матери навсегда запечатлелось милое сморщенное личико, похожее на высохший лимон, и крохотные ручонки с тоненькими как спички пальчиками, теребившие ее грудь. Она чувствовала сладкое томление во всем теле и остро жаждали мягких, жадно сосущих губок ребенка коричневые, набухшие соски. По ночам ей страшно было подумать, что душа ее милого мальчика навсегда ушла от нее в далекий, невозвратный мир, населенный страшными чудовищами, добрыми и злыми духами. В своей наивной вере она беспокоилась за его загробное существование, ее все время преследовали тревожные мысли, как живется ее крошке, сумеет ли защитить его Милосердная богиня с двенадцатью руками, не забудет ли она его среди массы благих дел?..

От страха и тоски Ин все крепче прижималась к старому Вану. Его также мучила бессонница по ночам. Он все еще окончательно не потерял надежды оставить после себя потомка. Он с удовольствием воспринимал нежные ласки молодой наложницы, любил сквозь сон прислушиваться к ее наивному лепету. В ночной тишине алькова Ин казалось, что во всем мире остались в живых лишь она и Ван. Только он один мог делить с нею тоску по ребенку, любовно вспоминать каждый его жест, мельчайшие события его краткой жизни. Ван утешал, как мог, молодую женщину, нежно прижимал ее к себе, называл ласкательными именами. Тоска по ребенку еще теснее сблизила их, несмотря на разницу лет. Неудивительно, что через несколько месяцев после смерти первенца Ин снова стала распускать тесемки на

панталонах, повеселела и окрепла, оформилась в красивую молодую женщину.

Второй ребенок был такой же хилый, как первый, со сморщенной худой кожей, чрезвычайно похожий на Вана в миниатюре. Это сходство еще больше обрадовало Ин. Старик также повеселел, осыпал молодую наложницу подарками, приносил ей сласти, баловал, как любимого ребенка. Старухи ходили с поджатыми хвостами, льстиво заискивали перед счастливой матерью, всячески старались угодить ей. Чтобы охранить ребенка от злого глаза, Ин одела ему на шейку серебряный обруч, обвешивала его священными гвоздями, заговорами, камешками. Она ни на минуту не разлучалась с ребенком, постоянно мыла его, холила и ласкала, не чаяла в нем души.

Однако, ничего не помогло. Ребенок чах с каждым днем. Он все так же оставался, как при рождении, больной и хилый, с висящей сморщенной кожей на тонком скелетике и слабо попискивал, как покинутый котенок. У бедной матери разрывалось сердце на части, глядя на него. Напрасно она красила ему щечки и губы алой краской, заплетала ему чубик спереди на бритой головке красной ленточкой, шила для него пестрые штанишки с широким разрезом по середине. Она обошла всех даосов и колдунов в окрестности, воскуривала предкам и богам жертвенный фимиам, горячо молилась Милосердной богине, старательно отбивая лбом поклоны, бросала в отверстия больших деревянных храмовых копилок целые горсти медяков. Не помогли также письменные обращения к важным предкам Вана, сожженные вместе с богатыми приношениями. Пожив короткое время на земле, безгрешная душа младенца отправилась слепо блуждать по миру в поисках нового тела.

Теперь уж не было никакого сомнения в том, что молодая наложница неспособна рожать здоровых детей для потомства. Старухи окончательно восторжествовали. Ин снова почувствовала себя покинутой и лишней в доме, заливалась горькими слезами. Она совсем потеряла вкус к жизни и, сидя перед двумя дорогими гробиками в садике позади дома, мечтала о свидании с ними в загробном мире. В ее во-

ображении загробный мир мало чем отличался от настоящего. Но там она надеялась увидеться со своими малютками.

Смерть малышей очень повлияла и на старого Вана. Сожнание, что он может умереть, не оставив после себя потомства, сильно угнетало его. Он осунулся, значительно похудел, перестал есть и спал беспокойно. Вместе с ним должна была исчезнуть и память о славной семье Ванов, чьи предки блистали среди приближенных древних императоров. Он уж потерял всякую надежду дожидаться потомства от Ин. Но в то же время, он не мог решиться взять другую наложницу: это было сопряжено с огромными расходами и хлопотами. К тому же, он очень привык к маленькой Ин...

Между тем, молодая женщина, раньше походившая на подростка, незаметно оформилась, превратилась в красавицу. Печаль сделала ее еще красивее, обаятельней. Она приобрела новые благородные манеры, научилась носить дорогие шелковые одежды. Когда она ездила в своей рикше за покупками по городу, яркая и благоухающая, как лан, прохожие останавливались на своем пути, поворачивали головы в ее сторону. Теперь в ней уж нельзя было узнать прежнюю дочь гробовщика Чжао-Го. Правильное бледноматовое личико, словно выточенное из слоновой кости, смотрело гордо и строго, как на портретах молодых княжон из императорского дома. Она теперь редко улыбалась, но маленькие зубки ее все так же влажно сверкали, как жемчуг на солнце, а губы, узкие и алые, казались ярким кровавым пятном, пугали и притягивали одновременно...

III

Однажды, ранней весной, после новогодних праздников, Ин отправилась пешком навестить свою подружку, хромоногую Иа-Ше, жившую далеко за городом у Красной пагоды. День был светлый, солнечный и низкий туман стлался над влажными рисовыми полями, словно испарялся из

огромного котла.

Вдалеке, над бамбуковой рощей, маячила острая верхушка Красной пагоды и приглушенно доносился отдаленный звук молитвенных барабанов. Молодая Ин шла по знакомой тропинке, тихо мурлыкала любовную песенку, изредка наклоняясь в сторону, чтобы сорвать ранний полевой цветок. Было тихо, спокойно, и звуки глухо тонули вдалеке. В глубине рощи, на берегу узенького ручейка, Ин присела на свежую травку, разула голубенькие атласные туфельки и вся отдалась созерцанию нежных, слегка пожелтевших бамбуков, густой стеной уходивших в бесконечную даль. Вокруг пели невидимые птички, жужжали молоденькие насекомые, и эти звуки вместе с глухим шумом ветвей и кустов и отдаленным гулом молитвенных барабанов располагали к покою, клонили ко сну. После долгой дождливой зимы Ин остро переживала первое дыхание весны, а вид свежей зелени опьянял ее, вызывал в ней ленивую истому. В зеленом сумраке рощи кланялись, перешептываясь, верхушки бамбуков, и звонко, убаюкивающе переливалась вода в ручье. Ин положила голову на мягкую мшистую кочку, прикрыла глаза и вся отдалась нежным, беспредметным юным грезам.

Она очнулась от резкого удара в грудь. Перед ней на коленях стоял молодой безусый мужчина со страшным искаженным лицом и свирепыми глазами. От страха и неожиданности, крик застрял у нее в глотке. Она сделала движение, чтобы приподняться, но неизвестный длинными цепкими пальцами сдавил ей горло и без усилия бросил на траву. Ин покорно осталась лежать на спине, слабая и безвольная, распластанная, как жертва перед жрецом. На один миг сознание концентрировалось в ней и бледное лицо мужчины со страшными невидящими глазами мелькало над ее лицом в кровавых пятнах. Впопыхах он грубо, неловкими движениями срывал с нее штанишки, целую вечность зверски рычал и тяжело дышал от нетерпения над ее лицом. Наконец он навалился на женщину, охватил ее поперек тела и тесно сжал в свои объятия, как муху в кулак...

Несколько минут длилось странное состояние ужаса, безволия и полного забвения. Постепенно Ин пришла в себя, приоткрыла глаза, вся еще вздрагивающая от пережитого. Вокруг все так же слышен был веселый зеленый шум рощи, в котором отчетливо выделялся гул молитвенных барабанов из Красной пагоды и изредка удивленно, словно не доверяя своему слуху, чирикала невидимая птичка. Женщина бессмысленно смотрела на голубой купол, откуда, чудилось, плыли все звуки и запахи, и напряженной памятью, как после кошмара, силилась вспомнить, что произошло. Она чувствовала сильную боль и ломоту во всех членах, словно по ней проехала тяжело нагруженная телега. Вскоре она обратила внимание на свои руки, такие странно-незнакомые, будто видимые впервые, в свежих царапинах и ссадинах. Она не столько увидела, сколько почувствовала, как чувствуют отрезанный член, отсутствие драгоценностей на руках, — золотых колец, браслетов, — подарков мужа, и сразу вспомнила все. Перед ее глазами вновь близко промелькнуло страшное лицо незнакомца, бледное и искаженное, со сверкающими белками глаз, ей вновь почудился его хриплый животный рык и железные объятия... Она с громадным усилием поправила на себе одежду и поплелась прочь от страшного места.

Измученный вид ограбленной женщины произвел тяжелое впечатление на старого Вана. Она явилась в дом в изодранной одежде, вся в кровавых царапинах и синяках, а золотые серьги с агатовыми цветочками были вырваны из ушей вместе с мочками... От испуга Ин не могла говорить и лишь вкратце рассказала о нападении грабителя в роще. Полиция во главе с даоином, поспешившая на место происшествия, никого не нашла. Преступника и след простыл.

Старый Ван немедленно призвал врачей и колдунов, умеющих заговаривать от испуга, заботливо уложил любимую наложницу в темный альков и приказал женщинам ухаживать за нею. Заботливость мужа глубоко тронула молодую Ин. Впоследствии, рассказав подробно о том, что произошло с нею в бамбуковой роще, она благоразумно утаи-

ла о насилии. Она женским чутьем догадывалась, что старику это будет неприятнее всего...

Через короткое время Ин оправилась. Старый Ван продолжал баловать любимую наложницу, делая ей подарки; она вновь щеголяла в агатовых сережках, красивее прежних. Одета в обновки, она все так же приковывала к себе внимание и взгляды мужчин, возбуждала злую зависть в женщинах. Теперь, после приключения в бамбуковой роще, в ней прибавилось нечто новое, таинственное и значительное, она казалась зачарованной.

Ночи Ин проводила без сна, лежа с открытыми глазами, прислушиваясь к отдаленным шорохам. Ее уж перестали забавлять бессильные старческие ласки мужа. Она незаметно отодвигалась от его дряблого тела, ей неприятен был его тяжелый потный запах, его старческий храп. Помимо ее воли, мысли ее постоянно возвращались к молодому кули в бамбуковой роще, с бледным, как созревший лимон, лицом и дико сверкающими глазами. Она старалась вспомнить подробности того момента, но в воспоминаниях все это происшествие казалось похожим на сон. Днем, при свете солнца, она стыдилась этих мыслей, неожиданно всплывавших в сладкой безвольной истоме или на прогулках в саду, по ассоциации запахов и красок. Иногда она вдруг упирала свой взгляд в широкую обнаженную спину кули-лампацо, таскавшего ее шикарную черно-лакированную рикшу, украшенную голубыми цветами, ей страстно хотелось, чтобы он, как «тот», зажал ее в железные объятия и погрузил в страшный, сладкий сон... Но тут же она пугалась своих мыслей и, вздрагивая, бессознательно, с наслаждением вдыхала крепкий, кисловатый запах его влажной вспотевшей спины, не могла оторвать глаз от черного, загорелого, как поджаренный бифштекс, обнаженного тела. По ночам неясный лик грабителя сливался с лицом лампы и преследовал ее, как привидение. Она все чаще чувствовала дикое объятие, его животное клекочущее дыхание на своем лице. Ее душили кошмары.

Лето наступило душное и жаркое. В городе вновь свирепствовала холера, и улицы постоянно оглашались музыкой

и рыданием на похоронах. По вечерам жители энергично молились, постукивая в барабаны, били в гонги, поднимали адскую канонаду на улицах, прогоняя злых духов ракетами, пестрым фейерверком и хлопушками. Не помогло также торжественное чествование большого Дракона, проносимого по всему городу. Злая гостья ходила из дома в дом, наводила панический ужас на людей.

Как-то раз после обеда Ин почувствовала тошноту. Ее немедленно уложили в постель и все домашние не на шутку перепугались. Через короткое время ей стало лучше, а ночью, прижимаясь, как встарь, к старому Вану, она шепнула ему радостную весть...

В третий раз Ин распускала тесемку на панталонах. Старый Ван, глядя на выросшую красавицу-наложницу, вновь торжествовал, предавался затаенным мечтаниям. Ин снова принялась вышивать голубеньких птичек, готовила приданое будущему ребенку, вышивала для него курточки и шапочки, шила ему пестрые штанишки. В мыслях о ребенке она совсем забыла происшествие в роще. Ее воображение рисовало ей ребенка похожим на его братьев, она исходила тоской, чтобы скорее увидеть его.

На этот раз роды были очень тяжелые, и даже сварливые жены Вана плакали, видя ее мучения. Были созваны колдуны, врачеватели и бабки, все время курились свечи перед табличками предков. Двое суток несчастная корчилась от боли. Нищие толпами шныряли у ворот в ожидании богатых похорон. Весь дом был оглашен вздохами и плачем женщин; вся семья Чжао-Го была в сборе, торговалась с домочадцами насчет гроба для будущей покойницы. И, совершенно неожиданно, когда все уж примирилось с печальной участью маленькой Ин, из темного алькова раздался резкий крик новорожденного, упорный и живой, сразу прогнавший мысль о смерти. Бабки и колдуны засуетились, забегали по всему дому, затараторили на разные лады и чуть не подрались между собою: каждый из них приписывал себе чудесное исцеление больной. Через короткое время Ин облегченно улыбалась своему крошке, барахтавшемуся на кане у ее ног.

Этот ребенок был совершенно не похож на своих хилых братьев. Волосатый, темно-красный и большой, он с первой же минуты вцепился крохотными ручонками в материнскую грудь, словно прибыл из голодной страны. Женщины тесно окружили кан молодой матери, с умилением смотрели на маленького обжору, беспричинно хихикали, отпускали шутки, поздравляли слабую Ин. Она любовно-ласково улыбалась им в ответ — не могла оторвать взгляда от новорожденного.

Вскоре явился старый Ван, ушедший из дому, чтобы не слышать воплей подруги. Увидев его, женщины почтительно уступили ему место возле кана и нехотя оставили альков. Лишь теперь Ин, взглянув на опустившегося, постаревшего Вана, почувствовала, что ее муж — старик, такой же седой и согбенный, как тысячи других, ползающих за милостыней вокруг храмов. Ван близко подошел к наложнице, красными слезящимися глазами посмотрел на Ин, на сыробагровое тельце ребенка, выделявшееся ярким контрастом на нежной, цвета слоновой кости груди женщины и неловко, безмолвно погладил ее по голове. От этой ласки Ин сжалась в комочек, перед ее глазами вновь пронеслась картина во время насилия над ней в роще, она вздрогнула, неожиданно почувствовав сходство в ребенке с тем страшным, неизвестным, хрипло рычавшим на ее груди... От волнения и угрызения совести кровь хлынула к голове; она в изнеможении прикрыла глаза.

Несколько минут старик стоял, наклонившись над каном, всматриваясь невидящими глазами в бледное усталое лицо наложницы. В мертвой тишине раздавалось трогательное, жадное чмокание ребенка и ровное дыхание матери. Затем Ван, счастливый и сияющий, молодцевато прошаркал мягкими туфлями к выходу, мимо толпившихся женщин, родственников и прислуги, и направился в свою лавку. Увидев его, приказчики засуетились, деловито забежали по темным углам, принялись вытирать пыль, начали переставлять предметы с места на место.

Ван залез за свою конторку, где лежали его расчетные книжки, и раскрыл одну из них. Было тихо, над окном ве-

село стрекотали сверчки и сонно шептались тени на стенах. Он ни о чем не думал и лишь ощущал светлую радость в душе. Перед его глазами все время стоял образ новорожденного сына, его жадно сосущие эластичные губки, его крохотные цепкие пальчики на груди матери.

Старик был счастлив. Славное имя Ванов не потеряется в неизвестности.

ПРИЛИЧНЫЙ ДОМ

По праздникам над домом развевается голубой с белыми звездами флаг Великой Американской Республики.

Снаружи дом походит на немца-визитера в Новый Год, в доброе, старое время. Во фраке, слегка навеселе, блестящий цилиндр помят и набок, ноги выделывают крендели, но в общем вид чрезвычайно солидный, торжественный, знающий себе цену. Здание серое, массивное и внушительное, опоясано каменными балконами и лепными украшениями, с широким парадным крыльцом, пышным входом, огромными дверями из черного дерева с тонкой художественной резьбой, выпуклыми амурами и скромной мраморной табличкой:

«Miss Helene Grave».

Большие итальянские окна задрапированы беленькими кружевными занавесками с веселенькими кокетливыми цветочками, собранными розовыми и голубыми ленточками, кисточками и розеточками. Кое-где, сквозь кружево, можно видеть на подоконнике вычурную клетку с птичками, просвечивает букетик роз, ландышей или гвоздики в тоненькой хрустальной вазочке.

В общем, дом почти не выделяется в ряду домов квартала, таких же солидных, буржуазных, приторно-безвкусных и скучных, как товарные амбары в порту.

И лепные украшения на домах, — штампованные, нудно повторяющиеся, — напаялены не для красоты, а чтобы придать всей улице однообразный, отталкивающий вид самодовольной, сытой утробы. Лишь небольшой фонарь над входом, белый, матовый, слегка застенчивый, как ужимка провинциалочки, с черным тоненьким номерком, почему-то сразу бросается в глаза и выделяет его в ряду соседних домов, на которых номера обозначены белой краской на синих табличках.

Только и всего...

Широкая просторная прихожая обставлена богато, со вкусом. Мягкие пекинские ковры, низкие оттоманки вдоль стен, пальмы, кактусы и пышные цветы — странная яркая смесь европеизма и экзотики. По стенам развешены старинные гравюры в тяжелых золоченых рамах, шелковые разрисованные японские ширмы по углам, пестрые китайские вазы с фантастическими рисунками драконов, китайских цветов, плюшевые гардины и драпри, причудливые восточные люстры в выдержанном ярко-малиновом тоне и бой Номер Первый — бритый, холеный, женоподобный китаец неопределенных лет, смахивающий на евнуха, с вечно улыбающейся, лоснящейся от удовольствия круглой косоглазой рожей, отлично вышколенный, подобострастный и опрятный, в белой шелковой халате, мягких китайских туфлях, с длинным карандашом за ухом. Из вестибюля ведут задрапированные двери в большие, роскошно обставленные гостиные в европейском, турецком и китайском стилях. Стены украшены гравюрами и картинами с изображениями эротических сцен из мифологии, обнаженных женщин и голеньких амуров. Всюду и везде расставлены уютные диваны, широкие оттоманки и канапе, а в углу каждой гостиной непременно красуется музыкальный инструмент: рояль, автоматическое пианино или граммофон *Victrola*.

Широкие лестницы по обеим сторонам от входа в прихожую, ведут наверх, в комнаты *young ladies**.

Прислуга в доме расторопная, понятливая, набившая руку. Бой в белых длинных балахонах и мягких туфлях неслышно скользят на зов таинственных звонков, гибкие, безмолвные и бесстрастные, похожие на прислужников в храме, посвященном всемогущему божеству. На лице у каждого лежит отпечаток строгой напряженной деятельности, невольно внушающей уважение. Ими беззвучно распоряжается, словно творит великое таинство, — *miss Mary*.

Miss Mary — миниатюрная, хрупкая моложавая женщина неопределенных лет, похожая на девочку-подростка. У нее симпатичное, слегка неправильное продолговатое ли-

* Молодых дам (англ.).

цо романского тина, черные, как уголь, гладко зачесанные волосы, большие карие глаза и маленькие, белые правильные зубы, как у фарфоровой куколки. Она вся дышит энергией, порядочностью, интеллигентностью и особой деловой честностью, присущей руководителям солидных банков или промышленных предприятий, возбуждающих слепое доверие клиентов. Когда она одета в черное простенькое платье, ее легко можно принять за начальницу гимназии, за гувернантку, или, по крайней мере, за жену социалистического депутата. Но вместе с тем, в ней нет ничего от синего чулка. Напротив, когда она по вечерам наблюдает за порядком в гостиных, залитых ярким электрическим светом, и с обворожительной улыбкой принимает гостей, в легком бальном платье без рукавов, все, как следует, выделяется и манит, вызываяще подчеркнуто, как полагается у порядочной леди из общества. Обнаженные, змеино изгибающиеся руки с нежными живыми ямками, крошечные ножки, стройные и упругие, в шелковых ажурных чулках, обутые в миниатюрные туфельки с узкими носками на высоких каблуках, красиво очерченные овалы груди, тонкая высокая талия и пышные широкие бедра, — все у ней живет, зовет и приковывает непосредственной женственной красотой и молодой чувственностью. И голос у нее звучный, густой, грудной и властно-самоуверенный с бархатным мужским оттенком, слегка волнующий и томный.

До завтрака, который подается здесь по-английски в час дня, когда **young ladies** еще нежатся в постелях, **miss Maгу** следит за уборкой гостиных, проверяет счета, ведет переговоры с поставщиками, осматривает принесенную поваром провизию, принимает и выдает прачке белье. В верхних этажах темно, наглухо прикрыты ставни, и лишь общий любимец, рыжий кот Том, важно прогуливается по всем коридорам, беззаботно играет утащенным у **miss Mabel** мотком зеленых шерстяных ниток, самовлюбленно мурлыкает, подняв вверх пушистый хвост, мысленно воображает атаку на глупую мышь. К нему приставлена специальная китаянка-ама, он всегда сыт, в тепле и холе, постоянно окружен заботой и лаской праздных женщин. Бои и амы на цыпочках

пробираются мимо дверей своих госпож, втихомолку перешептываются. По временам, в насторожившейся тишине, отчетливо слышно однообразное тиканье больших стальных часов в вестибюле.

К завтраку в столовую спускается сверху одна лишь miss Mabel. Остальные женщины получают свой завтрак в постелях. В мягком кресле восседает во главе хозяйка, — miss Helene Grave, — тучная блондинка лет пятидесяти с вялым, крупным оплывшим лицом, почти желтым от веснушек, и высокой замысловатой прической. Она ест много, жадно проглатывает куски с громким плотоядным чавканьем и тяжелым дыханием, как откормленная гусыня. По правую руку хозяйки сидит miss Mary, — по левую, — miss Mabel, — закадычная подруга miss Helene — худая длинная старуха, которой можно дать под шестьдесят или больше, когда она в своем натуральном виде спускается к завтраку. У нее маленькое птичье лицо с длинным носом, линючие, бесцветные круглые глазки с красными веками, стянутый морщинами сухой отвислый рот и острый выступающий подбородок. Редкие волосы неопределенно-грязноватого цвета с плохо покрашенными сединами слегка скрывают широкую плешь. Утренний шелковый халат висит на ней глубокими складками, как на огородном чучеле, дополняет сходство с классическим типом ведьмы, как ее принято рисовать в детских сказках...

Столовая без окон и всегда в ней горит электричество. Летом под потолком жужжит электрический веер, зимой уютно потрескивает уголь в камине. Огромный буфет из черного дерева, чудесной китайской работы, с тонкой резьбой и барельефами чудовищ-драконов, сплошь уставлен дорогим хрусталем, пекинскими фарфоровыми и серебряными безделушками. Большие старинные часы на стене ткут однообразный, сонливый узор звуков, аккомпанирующих бесстрастный, трескучий говор женщин, неожиданно падающий в тишину, как частые шлепки по мягкому телу в пустом подвале.

Разговор за завтраком всегда строго-деловой и отрывистый. Тщательно обсуждается *menu*, делятся впечатления-

ми прошедшей ночи, жалуются друг дружке на дороговизну, на скардность гостей. Иногда поднимается вопрос о кредитоспособности того или другого клиента. Говорят почти исключительно подруги, *miss Helene* и *miss Mabel*, пережившие в прошлом, до мировой войны, лучшие дни в Шанхае, когда европейские женщины ценились как привозная роскошь, да и публика тогда была не та, что теперь.

Miss Mabel не может хладнокровно говорить об «этих грязных русских женщинах», занесенных беженским потоком в Шанхай.

— И чего это Городской совет смотрит, — шипит она, поблескивая сплошной золотой челюстью, презрительно поджав нижнюю отвислую губу. — От них на улицах прохода нет мужчинам; они заполнили собою все китайские притоны...

Бой Номер Первый почтительно прислуживает женщинам, угадывает каждое их желание. По его немому знаку действует целый ряд безмолвных, дрессированных боев, совершающих великое таинство — насыщение трех главных госпож дома. С улицы изредка доносятся отдаленные гудки моторов и гортанные напевы продавцов и ремесленников, сопровождаемые звоном, ударами в гонг, условными свистками. Кот Том завтракает тут же, у ног хозяйки, из специальной фарфоровой миски. Ему прислуживает ама А-Синь и, время от времени, женщины потчуют его лакомыми кусками из своих тарелок. Том ест лениво, без аппетита, смешно облизывает широким язычком длинные рыжие усы, степенно потягивается. А-Синь, сидя на корточках, все время гладит его по спине, щекочет в шейку, за ушами, ласково уговаривает его, как капризного ребенка, расхваливает куски...

За пудингом в беседе старух уж мелькают имена *young ladies*. Почти всегда хозяйка кем-нибудь недовольна. То одна из барышень чересчур небрежно относится к своим обязанностям, увлекшись гостем, другая неожиданно появилась нагая из «Турецкой гостиной», предназначенной для любителей, с особой платой за вход, в общую залу, где танцуют вечные фокстроты, уон и ту-стэпы в бальных платьях и, лишь

заказав шампанское, можно позволить себе вольность вроде поцелуя или посадить женщину к себе на колени.

— Кажется, пора ей знать, что у меня не матросский кабак, а приличный дом, — негодует она, искренне возмущенная до глубины души.

Miss Mabel поддакивает ей, подобострастно подхватывает на лету мысль хозяйки, доводит ее до логического конца:

— В самом деле, что о «нас» могут подумать порядочные джентльмены после таких выходов? Если женщина не умеет вести себя прилично, пусть идет в «траншеи»^{*} а не компрометирует нас...

Miss Mary задумчиво облизывает красным острым языком крем с ложечки или сосредоточенно курит папироску, зажав ее тоненькими пальчиками, устремив взгляд на пышную олеографию на стене напротив, чрезвычайно заинтересованная сочно написанными аппетитными фруктами. Изредка, когда речь заходит о ком-нибудь из ее любимиц, она быстро-быстро пускает к потолку синие колечки и, щурясь на свет, наружно спокойная, томная, роняет вскользь ленивым голосом:

— Но вы забыли, моя милая, что именно эта барышня — украшение нашего дома и приносит наибольший доход делу. И потом... Ведь вместе с нею перейдут в другой дом ее постоянные клиенты...

После замечания miss Mary сразу наступает неловкая тишина, в которой отчетливо слышны стук маятника и резкие звонки в комнатах женщин наверху. Прислуга бесшумными движениями убирает со стола, сдвигает стулья, а бой Номер Первый почтительно докладывает miss Mary о заказанных по телефону отдельных кабинетах и young ladies. Подруги молча тянут из крошечных чашечек свой послеобеденный кофе, чутко прислушиваясь к отрывистым распоряжениям директрисы. Тихим властным голосом miss Ma-

^{*} Траншея — т. наз. окраина китайского города в Шанхае, где помещаются притоны низкого пошиба и кабаки для матросов (*Прим. авт.*).

гу распределяет женщин, гостиные, отдельные кабинеты, выписывает для буфета напитки, точно указывает каждому бою его место, окончательно устанавливает официальную программу вечера.

Телефон, не переставая, звонит, вызывая то одну, то другую женщину. Они спускаются вниз в прозрачных шелковых кимоно, торопливо шаркают домашними туфлями на босу ногу. Постепенно оживают верхние этажи: доносится нестройный визгливый гул женских голосов. В комнатах шумно раскрывают окна, наглухо закрытые ставни, раздвигают плотные гардины, поднимают шторы. Прислуга лихорадочно убирает комнаты и коридоры, делает постели, вытряхивает матрацы и вместе с дневным светом и воздухом в дом врывается звон трамваев, гудки моторов, гортанный, надрывающий слух, напев уличных разносчиков. Полуголые женщины с распущенными волосами и грязно-пестрыми от стершейся краски, пудры и крема лицами суетливо перебегают по коридору из комнаты в комнату, взвизгивают и хохочут охрипшими испитыми голосами, коверкают фразы на официальном английском языке, ссорятся и сплетничают, быстро-быстро глотая слова, отчаянно жестикулируя руками и всем телом, выступающим из распахнутого прозрачного кимоно. В ваннах нагие женщины полощатся при открытых дверях, на весь коридор перекликаются с подругами, ругают неловкую прислугу. Бои и амы мылят их греческими губками, делают им притирания мохнатыми полотенцами, деловито готовят тазы с разведенным, как лиловые чернила, марганцевым калием...

Появляются маленькие, сухонькие японцы — массажисты, маникюры и парикмахеры в белых больничных халатах поверх европейского платья и золотых очках, пропитанные аптечными запахами. Они сосредоточенно-молча раскладывают свои небольшие чемоданчики с инструментами и косметикой, холодные и бесстрастные, с деланными застывшими улыбками на лицах. Женщины с преувеличенной покорностью ложатся нагие в свои постели и, насторожившись, напряженно присматриваются к приготовлениям массажистов. Постепенно женственно-нежное бе-

лое тело розовеет под ловкими сильными пальцами маленького японца, словно наполняется красным вином. Начинается визг, хохот, гогот, со всех сторон сбегаются к массируемой подружки и странным контрастом выглядит в толпе обезумевших от бесстыдства нагих и полунагих женщин смуглый японец в белом халате и золотых очках, слегка смахивающий на доктора. Ровными заученными движениями он комкает живое, змеино извивающееся в сладостной щекотке похотливое тело женщины, ловко шлепает ее по животу и бедрам, бесстрастный, как заведенная машина. Его холодность и равнодушие еще сильнее разжигают массируемую. Подстрекаемая шутками подруг, она изводит японца похотливыми капризами, злыми насмешками задевает его мужское самолюбие, бесстыдными позами искусно разжигает в нем страсть... Смуглое лицо массажиста становится все темнее и темнее, набухает кровью и жутко смотрят остекленевшие белки диких глаз, направленные в одну точку, как у помешанного. Вздрагивающими пальцами он еще продолжает механически комкать покорное тело, извивающееся и горячее и, наконец, измученный дьявольской игрой, обезумевший от страсти, слепо бросается на женщину. Униженные беспрекословным удовлетворением чужой похоти женщины свирепеют, всей толпой оттягивают его от подруги, истерическими криками и побоями вымещают на нем накопившуюся злобу на мужчин...

Среди массажистов, парикмахеров и маникюреров, в толпе нагих и полунагих женщин юлят вертлявые китайцы — портные, вышивальщики, сапожники, продавцы. Бои пропускают их к своим господам по строго установленному церемониалу, за приличную мзду. Все они «себе на уме», хитрые и продувные мошенники, корчат из себя наивных дикарей, хоть видят насквозь своих клиенток. От них несет противным расовым запахом, отвратительной смесью пота, чеснока и лука. Нагие женщины, взвизгивающие, задыхающиеся от щекотки, между делом следят за примерками подруг, делают заказы портным и сапожникам, кричат в общей базарной сутолоке на разных языках и, что всего удивительнее, отлично понимают друг дружку.

Комнаты наверху обставлены в обычном мещанском стиле, с дешевым шиком и легким налетом откровенной сентиментальности. На первый план выступает алтарь любви — огромная широкая кровать, убранная приторно-беленькими кружевами, голубыми и розовыми ленточками, пестрыми вышивками и оборочками, — стыдливо-вульгарная и властно-зовущая, как ложе невесты. В одном углу обычно красуется туалетный столик, вдоль стены поставлены комод, зеркальный шкаф, кушетка, пара мягких кресел, — все в выдержанном, наивно-девичьем стиле, окрашенное в светлые цвета. На туалетных столиках разложены хвастливо напоказ мелкие драгоценные вещицы, — нередко можно встретить золотой маникюрный прибор, целый ассортимент художественно исполненных шкатулок, ящичков, флаконов, — большей частью подарки щедрых постоянных поклонников. На стенах развешены цветные гравюры с трогательным изображением голеньких амуров, купающихся женщин и пастушек. На камине расставлены гипсовые статуэтки, китайские и японские безделушки с легким налетом эротики, — смесь показной наивности и пошлости, почти ничем не выдающие личные вкусы жриц любви.

Некоторое отличие придает комнате национальность обитательницы. Это, прежде всего, сказывается в книгах, разбросанных по самым неожиданным углам комнаты, а также в ряде мелочей. У немки непременно красуются цветы на столе, а над окном попискивают птички в клетке. Туалет убран фотографиями поклонников, большей частью в рамках различной ценности, приблизительно соответствующей материальному положению данного лица. Над всеми фотографиями царит «его» портрет, милый лик первого обольстителя в пышной драгунской форме унтера или вахмистра, разрисованный от руки с точным знанием цветов аксельбантов и нашивок. У англичанки бросаются в глаза спортивные приборы; в свободное время она, полулежа в кресле, с закрытыми глазами механически вяжет платье или блузу. В комнате у нее всегда образцовый порядок, отчего посетителя сразу охватывает непривычный холодок. У итальянки, напротив, комната всегда кажется неубранной. Всю-

ду и везде, на креслах, на туалете, на диване и даже на комоде, разбросаны корсеты, лифы, сорочки, чулки и панталоны, нередко со специфическими ржавыми пятнами. На туалете и над кроватью, — целый ассортимент кукол в роскошных платьях и шляпках, начиная с дешевых японских целлулоидовых пупсиков, кончая художественными произведениями парижских мастерских. У русских комната выглядит по настроению жилицы, чаще всего в артистическом беспорядке, но всегда бывает уютно, мило и чем-то родным веет от дешевеньких русских открыток, разбросанных по стенам. Лишь комнаты француженок, — Кору и Жермен, — специалисток парижской любви, выделяются своеобразной специфической обстановкой, зеркальными ширмами, покатыми оттоманками и странного стиля мягкой мебелью, поражающей с первого взгляда неопытного новичка...

Ближе к вечеру дом снова погружается в тишину, тревожимую лишь непрерывными звонками телефона. Постепенно улетучивается тошный больничный запах и остро пахнет, как в парфюмерном магазине, слащавыми духами, туалетной водой, одеколоном, рисовой пудрой с сильным привкусом йодоформа. Женщины, словно институтки, собирающиеся на бал, усердно прихорашиваются к вечернему приему, гоняют взволнованную прислугу к подругам за недостающими принадлежностями, мечтают, как угорелые, по комнатам и коридорам. У всех повышенное лихорадочное состояние, как у боксеров перед выходом. В тихих беседах о туалетах, среди аханья и вздохов, между женщинами происходит плохо скрываемая борьба за первенство, жестокое соперничество на звание первой красавицы. В ожесточенной борьбе пускаются в ход всевозможные средства, тратятся безумные деньги на платья, на безделушки, образуются тайные заговоры, союзы, а в экстренных случаях пускают в ход кулачки с острыми коготками... Стоит лишь кому-либо одеть новое платье, сделать себе новую прическу, как все остальные женщины озабоченно возвращаются в свои комнаты, по целым часам обдумывают новые наряды, по несколько раз перечесываются, лезут из кожи, чтобы зат-

мать подругу. И, хоть все небрежными голосами высмеивают вкусы гостей, хохочут над их странными капризами и причудами, но с тайным волнением ждут вечера, смутно надеются на что-то...

Покончившие с туалетом отправляются на прогулку по городу, кто — в Городской сад, кто — в библиотеку, кто — за покупками по магазинам. Перед домом уж дожидается вереница рикш, трубят вызванные из гаражей моторы.

Все куда-то спешат, торопятся, переходят из комнаты в комнату, а бон и амы мечутся по всем лестницам и этажам.

Miss Maгу, словно главнокомандующий перед битвой, обходит все гостиные, отдельные кабинеты, комнаты женщин. За нею почтительно в отдалении шаркает бой Номер Первый с длинным карандашом за ухом и целым рядом помощников в белых халатах и мягких туфлях, с белыми полотенцами под мышками. Женщины по пути зазывают ее к себе, показывают ей свои вечерние туалеты, обновки, советуются с нею, втихомолку невинно сплетничают. Miss Магу посвящена во все тайны, для всех находит приятное словцо, комплимент, со всеми приветлива, ровна, мила, но вместе с тем ее спокойный голос выделяется из женского взвизга и звучит непререкаемым авторитетом.

К обеду все женщины спускаются вниз в столовую. В ярком электрическом свете красочно выделяются веселые пестрые туалеты, живые цветы, блестки, украшения и драгоценности. Все женщины веселы, красивы и шикарны, как апофеоз в оперетке. Блондинки, брюнетки и шатенки различных оттенков, подобранные знатоком, худые, классически сложенные и полные, крупные и миниатюрные, с детскими мечтательными глазами и хищными кошачьими взглядами — все они кажутся на одно лицо, незаметно дополняют друг дружку, сливаются в одно яркое целое, пышное, как сказочный узор на дорогом персидском ковре. Лишь руки, мелькающие среди приборов и посуды за едой, — бледные, породистые, с тоненькими прозрачными пальчиками, — крошечные и хрупкие, с розовыми, тщательно отделанными коготками, и большие, плебейские руки кухарки с толстыми корявыми пальцами, красные и изработав-

шиеся, — отчетливо выделяются на пестром фоне ярких красок и звуков, резко отличают женщин одну от другой, придают каждой из них определенное выражение.

Miss Helene сидит во главе стола в ярко-желтом платье «танго» из прозрачного креп-де-шина, отделанного пестрым бисером и черными кружевами. Из низкого декольте выпирают огромные слипшиеся груди, жирные и набухшие, как надутый пузырь. Она вся обвешана массивными золотыми серьгами, брошками, кольцами и полудюжиной браслетов — золотых змеек, туго зажимающих мясистые, багрово-лиловые руки повыше локтя, — величественная и надменная, как грубо отесанный идол в китайском храме. И движения у нее тяжелые, принужденные, напоминающие не то — циркового силача, орудующего двадцатипудовыми гирями, не то — скованного по рукам и ногам каторжника. Рядом с нею Miss Mabel, одетая в коротенькое розовое платьице с большим широким бантом в волосах, выглядит хрупким подростком. Ее замалеванное худое птичье лицо пестрит неестественно-яркими красками и странно поражает издали золотая вставная челюсть во рту и сухая гусиная кожа шеи, плеч и обнаженных рук, обильно усыпанная пудрой.

Стол убран живыми цветами в роскошных хрустальных вазах, поблескивает серебряными приборами и искрящимися на свет красочными бутылками вин и ликеров. Настроение у всех торжественное и повышенное. Почти всегда на обеде присутствует несколько завсегдатаев-мужчин, расфранченных, как женихи, в смокингах и визитках, приглашенных за особые услуги. Они чинно, с подчеркнутой любезностью ухаживают за своими соседками, ведут себя чрезвычайно прилично и даже пьют в меру, как в самом чопорном обществе. Хозяйка всячески поддерживает солидный разговор за столом, жалуется на застой в делах, на кризис, на распущенность китайцев, на упадок нравов и больше всего возмущается джентльменами, которые не платят по счетам... Женщины за столом по обыкновению кокетничают, из-за каждого пустяка заливаются истерическим хохотом, ведут сложную, рискованную, то тайную, то откровенную борьбу за выгодного поклонника. В беседе каждая

из них старается невинным словом уколоть соперницу, накинуть тень на ее яркие краски и мишуру, искусно плетет тонкую паутину лжи и интриг, по-женски, с унаследованной от прародительницы Евы настойчивостью, нагло и уверенно идет к намеченной цели.

Послеобеденный кофе подают в большой нарядной гостиной, где уж ждут гости. К этому времени появляется вечно заспанный пианист и откалывает первый танец. Незаметно исчезают с маленьких столиков кофейные чашечки. Появляются вместо них пузатые солидные бутылки вин и ликеров. В общем гуле кавалеры быстро знакомятся с дамами, деловито сговариваются, сплетаются с ними, покачиваясь в первом фокстроте.



ОПАСНАЯ ЗАБАВА

(Кино-драма)

Марсель Дегранж вздрогнула со сна и машинально осмотрела темную комнату полузакрытыми, сонными глазами. Через узкие скважины ставень проникали радужные лучи, оттеняя предметы и мебель густыми, мохнатыми тенями. На камине, хрипло вздрагивая, монотонно тикали часы, напоминая однообразными, отрывистыми звуками что-то бесконечно старое, до боли надоевшее...

От этих звуков на Марсель повеяло знакомой привычной тоской, но где-то, глубоко в груди, жило неясное воспоминание о прожитой ночи. Она лениво потянулась под одеялом и закрыла глаза.

Но спать больше не хотелось. Отдохнувшее молодое тело ныло горячей истомой. Ей живо вспомнился вчерашний успех в театре, громовые аплодисменты. Она бросила взгляд в угол, за ширму постели, где стояли подношения — целый сад живых цветов в роскошно убранных корзинах, и сердце радостно забило в ней, переполненное теплым, благодарным чувством к этим милым, незнакомым людям, которые так ласково приняли ее. Неясно, сквозь туман, показалось ей милое лицо Анри, такое мужественное, с черными жесткими усами, и ей страстно захотелось поцеловать его в губы, прижать к груди, снова, как когда-то, перебирать пальцами коротко стриженные на затылке густые волосы...

В эту минуту она в его образе воспринимала весь мир. И таким особенным казался он ей здесь, на чужбине, после трех лет разлуки, такой любимый, родной... И особенным казалось его имя, это милое, красиво звучащее, знакомое имя:

— Анри, милый Анри!...

Когда он вчера неожиданно вошел в ее уборную после спектакля, она не могла говорить с ним. Вся комнатка была наполнена поклонниками, молодыми и старыми, типичными завсегдатаями опереточных кулис, в смокингах и визитках, с уверенными нахальными улыбочками и масля-

ными глазами... Он коротко приветствовал ее, поздравил с успехом и сейчас же удалился, даже не поинтересовавшись ее адресом, оставив ее растерянной в толпе чужих мужчин. Затем ее повезли на бал в «Карлтон», где уж танцевали все женщины труппы, и она до утра, без усталости, танцевала, взволнованная успехом и неожиданной встречей.

Но тут же она вспомнила свою соперницу — Маделен, вырвавшую у нее Анри в Париже и в уме, как молния, быстро промелькнула мысль:

— А что, если она здесь, с ним!

От этой мысли ей стало вдруг холодно. Она укуталась до подбородка в одеяло; ее уж не радовали убранные корзины цветов в углу...

С улицы доносится отдаленный гул большого города. Где-то протяжно били в гонг, стучали в барабан, отчаянно скрипела худзина и эти резкие, незнакомые звуки сразу напомнили ей, что она в сказочной стране, в далеком Китае. Это сознание ободрило ее. Она вскочила с постели и, в одной короткой батистовой рубашке, выбежала на середину комнаты. Вальсируя босиком на мягком ковре, она запела парижскую шансонетку:

Chine, Chine, Chine, Chine...

Va l'comme en Chine

On s'aimant au plage bleu... *

.

К ней опять вернулось веселое, беззаботное настроение. Танцуя, она приблизилась к цветам в углу, перецеловала нежные лилии и чайные розы, издававшие тонкий, влажный аромат, внимательно прочитала незнакомые английские и португальские имена поклонников на визитных карточках, неуклюже подвешенных на проволоке к корзинам, и позвонила бою — приготовить ванну и подать завтрак. Оттого ли, что она плохо говорила по-английски, или

* Китай, Китай, Китай, Китай... Как в Китае, мы любим друг друга на голубом пляже (*фр.*, исправлено по смыслу).

оттого, что из-за ширмы выглядывали ее обнаженные руки и ноги, стройные и упругие, точно вылитые из белого снежного мрамора, бой долго стоял среди комнаты и тупо хлопал глазами, как ошеломленный. Марсель расхохоталась и, высунувшись из-за ширмы, мимикой показала ему, чего она хочет.

Выкупавшись, она освежила тело терпкой струей «Оригана» и несколько минут стояла нагая перед зеркалом с распущенными золотыми волосами, любуясь упругой гибкостью своих членов, таких молодых и нежно-округленных, сверкавших матовой белизной. На стук боя она едва успела юркнуть в первое попавшееся прозрачное, шелковое кимоно и взобралась с ногами на широкий диван у столика, где был сервирован завтрак. Бой — Фу-Чи, — молодой красивый китаец в белом европейском костюме, неловко прислуживал ей, тупо бродил по комнате, беспечно переставляя предметы, сдувая пыль, вкрадчиво впиваясь глазами в полуобнаженную молодую женщину, вдыхая опьяняющие запахи духов, сладких цветов, ароматного кофе и еще чего-то, специфически-женского, приятно кружившего ему голову. Марсель словно читала невысказанное желание боя и это забавляло ее. Она жевала острыми белыми зубами полусырой кровавый бифштекс, видела в зеркале напротив побледневшее красивое лицо Фу-Чи за спиной, его дрожащие руки и еще больше, невзначай, обнажала холоное тело из распахнутого кимоно, сидя с ногами под себя на диване, почти совсем нагая... Бой, как бабочка вокруг огня, двигался по комнате пьяный, со сдерживаемым дыханием и мутными глазами. Марсель, притворяясь, что не замечает его волнения, холодно-равнодушным голосом отдавала ему приказания, делала свой утренний туалет перед зеркалом.

Сентябрьское солнце стояло высоко в небе, горячее, не душное, а пропитанный рыбой и тиной ветерок со стороны Желтого моря, с Bund'a, разносил привет с севера. В вышине деревьев трещали кузнечики, где-то вдали играли гаммы на пианино, тихо шушукались бои на лестницах и в коридоре. Марсель поднялась этажом выше, к подружке — Кло-

дин, маленькой, прекрасно сложенной брюнетке-танцовщице и, захватив по пути товарища по труппе, толстого, пожилого комика Ронсара, — они втроем отправились на автомобиле осматривать город.

Они пробирались среди моря оголенных до бедер, коричневых тел. Накаленные каменные здания дышали огнем. Вокруг, резко перекликаясь, рыскали рикши, по всем направлениям, стенаая, шныряли кули, гнусаво распевали продавцы и плаксиво кланчили нищие. Пестрые полотняные вывески с кричащими иероглифами придавали улицам яркий, красочный колорит, ослепляли экзотической, своеобразной красотой. Марсель восторженно увлеклась яркой, бытовой жизнью улицы. Она то и дело вскрикивала, по-детски хлопая в ладоши, тормозила подругу и толстого комика, закоченевшего с сигарой в зубах на мягком уютном сиденье, порывалась идти пешком по грязным, зловонным лабиринтам китайского города. В пути болтали о делах труппы, перемывали косточки подругам. Клодин, зная о прошлой связи Марсель с Анри, поспешила передать ей, что он женился на Маделен, имеет с ней ребенка и на днях они вместе выезжают в Манилу, куда их приглашают в кабаре. Сверх всякого ожидания, эта неприятная новость совсем не подействовала на Марсель. Напротив, она даже чересчур спокойно выслушала рассказ подруги и, как ни в чем не бывало, упростила своих спутников зайти в китайскую кумирню по пути.

В небольшой дворике было полутемно и сильно пахло едким дымом сжигаемых посеребренных бумажных лоскутков, — символической денежной жертвы богам. Перед деревянными, пестро разрисованными богами, в больших ящиках с песком, были вставлены дымящиеся, фосфорические свечи, распространявшие удушливый запах. Молящиеся, в большинстве — китаянки, на коленях перед избранным богом неистово стучались лбами о каменный пол, молитвенно сложив руки, тыкали в песчаный ящик купленные тут же, у монахов, свечи или бросали в горящий медный жертвенник нанизанные на веревке пучки картонных раковин — жертвенных денег, оклеенных серебряной бумагой. На ко-

роткий миг вспыхивало яркое пламя и серый угарный столб дыма возносил жертву небесам...

Марсель жадно вглядывалась в пестрые, позолоченные, страшные и наивные лица богов. Как истая парижанка, она в душе была идолопоклонницей и, будь боги немного похожи на европейцев, она так же распростерлась бы на грязном полу перед ними, отбивая лбом поклоны. Молитвенный трепет охватил ее. Все вокруг было так ново и интересно для нее. И, хоть в глубине души тупо ныло ущемленное самолюбие, что ее предпочли другой, но Анри здесь был ни при чем. Он казался ей теперь таким маленьким, незначительным, ничтожным и совсем отошел на задний план...

К чаю они вернулись в гостиницу. Прекрасная зала пестрела светлыми летними платьями женщин и мужчин, танцевавших под звуки струнного оркестра модные танцы. Дамы живо поднялись в свои комнаты и вернулись оттуда в гостиную на «The dansant» яркие и свежие, как весенние цветы. Их обступили товарищи по труппе и поклонники. За чаем весело беседовали, флиртовали, завязывали новые знакомства.

II

После спектакля, снова, как вчера, на премьере, маленькая уборная Марсель Дегранж наполнилась мужчинами, знакомыми и незнакомыми. Они все громко восторгались ее талантом, целовали ее красивые обнаженные руки, шуточно серьезно объяснялись ей в любви. Марсель всем одинаково кокетливо улыбалась, привычно строила глазки и с тоскливой, смутной надеждой ждала Анри. Подруги, наскоро прощаясь с ней, уплывали к выходу со своими поклонниками. Бои поспешно тушили свет в зале и в опустевших уборных, со всех сторон надвигалась широкая волна темноты и тишины. Но Анри все не приходил.

Потеряв всякую надежду, Марсель инстинктивно выбрала из оставшихся мужчин пожилого, полного португаль-

ца-банкира, поднесшего ей в подарок дорогую брошь старинной китайской работы, с крупным бриллиантом в оправе. Соперники молча поняли ее выбор и поспешили прощаться с ней. Португалец, гордо выпучив вперед свой круглый живот, неуклюже посадил ее в автомобиль и увез в загородный ресторан ужинать.

В глубине залы, как яркие цветы, выделялись красочные, шикарные платья женщин. Мелькали обнаженные, сверкавшие ослепительной белизной, золотыми украшениями и драгоценными камнями шеи, груди и руки, раздражающе подчеркнутые, манившие наготой. Долгими, хищными взглядами женщины встречали гостей, небрежными улыбками и многообещающим подмигиваньем давали понять о своей доступности...

На эстраде, под звуки красиво-печальной музыки струнного оркестра танцевала молодая девушка, почти нагая, едва прикрытая прозрачной шелковой тканью. Хлопали пробки шампанского, жужжали электрические веера и изредка неутомонный гул толпы покрывал собою истеричный хохот подвыпившей женщины.

Марсель пила небольшими глотками красное итальянское кианти, ощущая, как вино медленно растекается по жилам, наполняя тело теплой, приятной истомой. В ней жило радостное чувство довольства и славы и неотступно преследовали ее воспоминания юности, такие трогательные и милые в прошлом. С каждым новым глотком вина все ярче, живее, до боли ощутимый, вырисовывался перед нею возлюбленный, с которым она пережила единственную, неповторяемую симфонию первой, наивной, но сильной любви... За спиной она чувствовала угарное дыхание португальца, неприятное прикосновение его потных, толстых, как обрубки, коротких пальцев, но мысленно она была далеко от него, в объятиях Анри...

Играла печальная музыка, плакала виолончель и танцовщица на эстраде ритмически извивалась, обнажая и скрывая под тонкой, прозрачной тканью красивое, живое тело. И было в ее движениях так много нежного и чистого, столько утонченно-прекрасного, человеческого, что было

больно думать, что девушка эта всегда к услугам первого встречного, кто только может заплатить ей...

Музыка оборвалась звенящим аккордом и, как продолжительный выстрел, стоял в зале гром аплодисментов. Балерина исчезала и вновь появлялась, привычно улыбающаяся, довольная успехом. Ее сменил бритый, женственно сложенный мужчина с необыкновенно тонкой талией и широким задом, в серо-клетчатом, обтянутом вокруг тела костюме, с репертуаром сальных куплетов. От всей его фигуры, от его жестов и слов веяло вульгарной уличной пошлостью. Вокруг стало еще шумнее и веселее. Все так же хлопали пробки шампанского, беззвучно скользили по паркету бои и хором хохотали любители плоских остроумств куплетиста. Сразу развеялись грезы и Марсель, опьяневшая от вина, томная и потяжелевшая, утвердительно кивнула головой португалцу, угадав его желание. Неровными шагами они направились в отдельный кабинет...

.

На рассвете Марсель вернулась в отель, разбитая бессонной ночью, пьяная от вина и томная, раздраженная бессильными ласками толстяка банкира... Она чувствовала теплую физическую усталость во всем теле, но спать ей не хотелось. В темном коридоре, у дверей ее комнаты, ее встретил знакомый бой Фу-Чи, только что вставший на работу. Она живо вспомнила его забавное замешательство и в ее отуманенном сознании неясно промелькнул отрывок какой-то странной мысли. Она остановилась на ходу и приказала бою подать чай с ромом.

Марсель усталыми движениями скинула платье и прилегла на диван. В раскрытое окно проникал мягкий голубой свет. Вся комната кружилась перед нею, ее окутала приятная, ленивая теплота. Напротив, на стене, громадные тени дрожали, беспрестанно двигаясь, сплетаясь в фантастические узоры.

На стук боя она приподнялась и, движимая инстинктом, ниже опустила батистовую рубашку на оголенные колени. Фу-Чи дрожащими руками придвинул к дивану столик, долго, старательно наливал в чашку чай, откупоривал бутылку рома, не спешил уходить. Он был еще теплый от сна, с покрасневшими веками и помутневшим взглядом. Во всем отеле было тихо и эта тишина остро чувствовалась в полутемной комнате, освещенной голубым рассветом. Марсель приподняла тяжелую голову, жаждущими губами глотнула ароматный горячий чай и почувствовала приятную слабость во всем теле... Не видя Фу-Чи, она инстинктивно чувствовала вблизи мужчину и вся насторожилась в ожидании... Фу-Чи несмело приблизился к ней и неловко присел на край дивана. Робость китайца растрогала ее. Несколько секунд они смотрели друг на друга отуманенными, влажными глазами, опьяненные одинаковым желанием... Марсель закрыла глаза и вся отдалась во власть Фу-Чи. Он неуклюже обнял ее холодными, дряблыми руками с длинными, цепкими пальцами. От него исходил неприятный, специфический запах чуждой расы, сырой и пронизывающий. На одно мгновение брезгливость овладела Марсель. Она сделала слабое движение вырваться из его объятий, но было уж слишком поздно... Марсель бессильно опустила руки, чувствуя горячее, взволнованное дыхание Фу-Чи на своем лице...

III

Проснувшись далеко за полдень, Марсель вспомнила утреннее происшествие и брезгливо скорчилась в постели. Затем она немедленно позвонила бою, — приготовить ванну. Увидев глупо-восторженное лицо Фу-Чи, вошедшего с фамильярной развязностью, не постучавшись, она властным голосом выгнала его и этим сразу определила свое отношение к нему. Выкупавшись и прогнав ненавистный запах крепкими духами, она совсем успокоилась. Немного поз-

же, в обществе подруг и поклонников, она окончательно забыла происшествие с боем. Все это показалось ей неприятным сном, о котором не стоит думать...

Но Фу-Чи не забыл ее. В его памяти она запечатлелась яркая и незнакомо-прекрасная в своей наготе. Он знал ее всю. Он чувствовал всю таинственную прелесть ее ласк, таких жутко-бесстыдных, жгучих и нежных, — как только может отдаваться парижская вакханка... Он бредил ею во сне и наяву. Всегда расторопный, исполнительный, прошедший целую школу в европейских отелях, он совсем забросил службу и двинулся ощупью, как во сне, с невидящим отуманенным взором. Пред ним неотступно стояла молодая женщина с прекрасным белым телом, синими глазами и золотыми волосами. Он жаждал ее видеть, ласкать, обнимать... По ночам он, как лунатик, бродил по коридору у ее дверей, дожидаясь ее... Она всегда проходила мимо него с презрительной, брезгливой миной на лице. Не видя ее, он думал о ней, как о женщине, однажды принадлежавшей ему, вспоминал ее ласки, чутьем влюбленного припоминая самые незначительные жесты ее, и бесконечно тосковал по ней. Иногда, на ее звонок, он являлся в ее комнату. Он рабски исполнял ее приказания, не смея смотреть на нее, потупив глаза к земле. Инстинктивно он чувствовал ее брезгливость к себе и наивно старался привлечь ее внимание тем, что особенно старательно убирал ее комнату, постель, приносил ей любимые блюда, подкупая на свои последние гроши отельного повара...

Марсель легкомысленно переходила от одного поклонника к другому. Вместе с отъездом ее возлюбленного Анри, она перестала тосковать по нем. Она постепенно вошла во вкус колониальной жизни. Будучи верной патриоткой, она неизменно разменивала мексиканские доллары на франки, значительно увеличила свой вклад в банковской книжке. Труппа также делала хорошие дела. По целым дням она разъезжала по магазинам, каталась за городом на автомобилях, весело проводила время с поклонниками в загородных ресторанах. Домой она возвращалась обыкновенно на рассвете, усталая и разбитая, в изнеможении бросалась в

постель и засыпала крепким сном, просыпаясь далеко за полдень.

В круговороте пестрой колониальной жизни, ей некогда было думать о бое — Фу-Чи. Она жадно копила деньги и драгоценности и, время от времени, отводила душу в мелких любовных интригах... Обыкновенно это были французские моряки или военные, с которыми она знакомилась в Городском саду, на Набережной Ван-Пу. В таких случаях она возвращалась в отель рано, сейчас же после спектакля, радостно-взволнованная, счастливая, и с материнской нежностью ухаживала за новым возлюбленным, искренне стараясь вознаградить его за тяжкую службу родине в далеких краях...

Фу-Чи всегда прислуживал им. Он подавал к свадебному ужину вино, ликеры, фрукты, стлал постель на двоих... Его совсем не стеснялись. Возлюбленные, большей частью простые ребята, потерявшие голову от счастья, что их любила «настоящая» актриса, такая красивая, молодая и богатая, повышенным тоном покрикивали на боя или выказывали свою силу чересчур развязным обращением с «благодетельницей»... Порою, глядя, как Марсель сидит на коленях у загорелого моряка и, в порыве сентиментальной нежности, подносит свою рюмку к его губам, целуется с ним, ласкает его или весело хохочет от грубых, бесстыдных ласк возлюбленного, вся кровь бросалась Фу-Чи в голову, он был готов броситься на женщину и задушить ее своими длинными, костляво-цепкими пальцами. В такие минуты он становился страшным. В нем пробуждалась слепая, животная ревность, лицо его превращалось в бледно-зеленую маску и хищно горели раскосые глаза жуткими огнями...

Однажды утром, после такой мучительной ночи ревности, Фу-Чи застал женщину в постели одну. Моряк, спешивший на службу, на корабль, ушел, не попрощавшись с Марсель, оставив ее в блаженном сне, раскинувшуюся на подушках. На алых губах спящей играла довольная улыбка и ровно вздымалась и опускалась высокая грудь после бурной ночи любви и неги...

Фу-Чи вначале не решился приблизиться к ней. Он молча смотрел на знакомое, прекрасное тело женщины, прислушивался к ее ровному дыханию. В его опьяненном мозгу чередовались картины прошлой ночи и того памятного утра, когда она принадлежала ему. В нем происходила бессознательная борьба двух противоположных инстинктов: один — рабский, расовый, другой — мужчины-победителя. Эта красивая, беспомощно разметававшаяся во сне женщина, такая хрупкая и нежная, будила его дремлющую мужскую силу, неудержимо тянула его к себе, вызывала в нем алчную жажду. Он ничего не сознавал, ни о чем не думал. Он только слышал ровное, спокойное дыхание Марсель и мягкое, частое постукивание собственной крови в висках...

Очнувшись в объятиях китайца, Марсель слегка повернулась к нему с закрытыми глазами, устало-ласковая, все еще под влиянием любовного порыва. Она потянулась к его губам и вдруг, почувствовав его по запаху, открыла глаза и громко закричала в испуге... Фу-Чи растерялся. Все еще не сознавая, что делает, он ожесточенно боролся с женщиной, кричавшей о помощи. На ее крик сбегались соседи и прислуга. От испуга Фу-Чи совсем обезумел и вонзился длинными пальцами в горло женщины...

Прибегавшие на помощь бросились на китайца, скрутили ему руки и, связанного, отправили в тюрьму.

Вскоре состоялся суд. На суде Фу-Чи угрюмо молчал. Он заранее был уверен в своей участи и покорно ждал конца. Лишь встречаясь на суде взглядом с Марсель, глаза его вновь загорались жуткими огнями. В общем дело было ясное, все улики налицо. Он был приговорен к смертной казни через повешение «за попытку изнасиловать белую женщину»...

Через несколько дней Марсель прочла за утренним кофе в местной французской газете заметку:

«Вчера на рассвете состоялась казнь китайца Фу-Чи, осужденного за попытку изнасиловать белую женщину в отеле, где он служил боем...».

Эта короткая заметка неприятно ущемила Марсель. Что-то, похожее на угрызение совести, промелькнуло в ее душе. Несколько минут она сидела в раздумье, как ошеломленная. Затем она рванулась с места и запела своим красивым мелодичным голосом, вальсируя по мягкому ковру, парижскую шансонетку о китайской любви:

Chine, Chine, Chine, Chine...

Va l'comme en Chine

On s'aimant au plage bleu...

.

Об авторе

Эли (Элиазар Евельевич) Магарам родился в Одессе в 1899 (?) году. Сотрудничал в Одессе в эсеровских изданиях *Земля и воля*, *Крестьянин и рабочий* и др., после 1917 г. был членом ЦИК Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы (Румчерод). После начала интервенции в Одессе уехал в Томск, где был секретарем редакции газеты *Знамя революции*, органа Совета депутатов Западной Сибири.

После чешского переворота уехал в Харбин, публиковался в газетах *Маньчжурия* и *Новости жизни*. Приехав в Шанхай, Магарам стал составителем, а позднее издателем литературно-художественных альманахов, призванных послужить мостиком между русской эмиграцией и чуждым для нее Китаем. В 1920 г. выходит альманах *Дальний Восток*, в 1921 — *Желтый лик*.

«Мы преследуем определенную цель, ознакомить русских читателей с Китаем, с его духовной и материальной жизнью, с его своеобразной культурой и искусством, — писал Магарам в предисловии к альманаху *Желтый лик*. — Живя в Китае, в китайской среде, мы лишь стремимся зафиксировать то, что видит наш глаз, что слышит наше ухо, что улавливает наша мысль. Мы охотно помещаем переводы китайской литературы и иностранных трудов, способствующих постичь непонятную нам душу великого народа. Мы верим, мы убеждены, что такое издание полезно и необходимо. Тем более оно необходимо сейчас, когда русский Дальний Восток переживает трагедию, в которой — кто знает? — быть может и Китаю суждено сыграть видную роль».

В 1923 г. вышел *Китай* — третий и последний из изданных в Китае альманахов Магарамы. Помимо этнографических, исторических, социэкономических и т. п. материалов в них публиковались зачастую любительские стихотворения и переводы, а также фотографии и репродукции работ живших в Китае русских художников. Сам Э. Магарам активно участвовал в альманахах, публикуя в них под собственным именем и рядом псевдонимов очерки, рассказы и переводы.

В первой половине 1920-х гг. Магарам также некоторое время редактировал газету *Новая Шанхайская жизнь* и сотрудничал с берлинскими издательствами: в 1922-1923 гг. в издательстве Гутнова вышла его повесть *Миреле* и книга *Современный*

Китай, в издательстве О. Дьяковой — книга *Желтый лик: Очерки китайской жизни*, в издательстве «Мысль» — книга переводов китайских сказок *Блуждающие души* (возможно, Магарам в это время и сам находился в Европе). До отъезда из Шанхая Магарам успел также выпустить первый том задуманного романа *Потомок раввинов*.

Очевидно, около 1925 г. Магарам уехал в СССР. В библиографиях значится книга *Китай*, выпущенная им в изд-ве «Московский рабочий» в 1925 г. В дальнейшем Э. Е. Магарам был занят научной работой. Имеются сведения о его работе в институте почвоведения в Минске, аресте и двухлетнем заключении по политической статье в 1938-1940 гг. и повторном аресте в 1949 г. Э. Е. Магарам скончался в 1962 г.

Очерки *Столица желтого дьявола*, *Рикша*, *Су-Чжоусский канал*, *Французский парк*, *Осенней ночью*, *В баре* и *Синово* были изначально напечатаны в альманахе *Дальний Восток* (Дальний Восток: Литературно-художественный альманах, посвященный Китаю. Ред. Э. Е. Магарам. Шанхай: Изд. Русского Благотворительного Общества в Шанхае, 1920).

Очерки *В китайском порту*, *Смеющийся Будда* и *Жена* были изначально опубликованы в альманахе *Желтый лик* (Желтый лик: Литературно-художественный альманах, посвященный Китаю: (С иллюстр.). Ред.-изд. Э. Е. Магарам. Шанхай: Русская тип. и изд.-во Н. П. Дукельского, 1921).

Очерки *У городской стены*, *Дочь гробовщика* и *Приличный дом* были изначально опубликованы в альманахе *Китай* (Китай: Литературно-художественный альманах. Под ред. Э. Е. Магарам. Шанхай: Изд.-во «Желтый лик» [тип. Сиблалгосторга], 1923).

«Кино-драма» *Опасная игра* была впервые опубликована в альманахе *Дальний Восток* под псевдонимом «Илья Евельич».

Все тексты публикуются по первоизданиям с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших оборотов; орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

В оформлении обложки и фронтисписа использованы иллюстрация к китайским сказкам работы Е. Беднаровой.

Оглавление

Желтый лик

Столица желтого дьявола	7
Рикша	17
Су-Чжоусский канал	23
Французский парк	30
Осенней ночью	36
В баре	40
Синово	48
В китайском порту	54
Смеющийся Будда	62
Жена	69
У городской стены	76
Дочь гробовщика	84
Приличный дом	100
Опасная забава (Кино-драма)	113
Об авторе	126

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.